



**Владимир Александрович Шаров**  
**До и во время**  
Серия «Улица Чехова»

*Текст предоставлен правообладателем*  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=6503858](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6503858)  
*До и во время: Издательская группа «Лениздат», «Команда А»; СПб.: 2014*  
*ISBN 978-5-4453-0580-4*

**Аннотация**

Сюжет романа феерический, головокружительный, безумный. А каким еще ему быть, если повествование ведется от лица персонажа, у которого в результате травмы стали появляться провалы в памяти, и он оказался в психиатрической больнице. И больнице не простой: на отделении, куда он попал, своеобразный контингент – этих людей отобрали в детстве по признаку гениальности с целью ее, гениальности, изучения. Когда-то в здании психиатрической лечебницы размещался исследовательский институт, впоследствии его закрыли, а бесприютные гении остались здесь жить. Но в том и отличие гениев от остальных людей, что им открыты тайны, неведомые другим: каков на самом деле механизм русской революции, кто вдохновил Николая Федорова на его знаменитую «Философию общего дела», куда исчезла огненная «Мистерия» композитора Скрябина, которой предстояло испепелить мир, кто такой Сталин и почему был так жесток, каким образом в судьбе России участвовал Бог, какие отношения связывали между собой исторических деятелей прошлого и при чем здесь мадам де Сталь.

В целом роман Владимира Шарова «До и во время» представляет собой увлекательное, напряженное и полное обескураживающих неожиданностей историческое расследование.

# Содержание

* * *	4
Конец ознакомительного фрагмента.	41

# Владимир Шаров

## До и во время

\* \* \*

Впервые я оказался в этой больнице в октябре 1965 года, кажется, восемнадцатого числа. Класть меня тогда не должны были. Речь шла о том, чтобы работавший в клинике профессор Кронфельд частным образом меня проконсультировал и подобрал таблетки ко всему моему «букету». От метро, как и было велено, я пошел наискосок, через пустырь и неогороженные строительные площадки; народу здесь ходило много, и снег, выпавший вчера ночью, был хорошо утоптан, местами даже накатан до льда. Пейзаж был совершенно нежилой: едва кончились котлованы и неровные штабеля бетонных плит, пошли склады, гаражи, овощебазы, недалеко текла прежде судоходная Яуза, тут же проходила железная дорога – и все это по традиции лепилось вокруг.

Я знал, что, если срезать угол, надо будет идти минут двадцать – двадцать пять, но шел я уже больше получаса, а нужной улицы не было. Тропинка была узкая, скользкая, и, конечно, я шел медленнее обычного, и все же ей пора, давно пора было кончиться. Тот срок, на который я себя настроил и который готов был идти вот так, все время боясь упасть и балансируя, как клоун, руками, истек; я устал и злился, что не пошел другой, более спокойной дорогой. Можно было не пробираться через склады и стройки, а обойти их по двум широким улицам, которые чистили и по которым было не опасно идти. Уверенный, что заблудился, я ругал себя последними словами, едва не плакал. Ситуация вряд ли того заслуживала, но я шел к врачу, шел в психбольницу, не знал, что он мне скажет и как решит мою участь. Конечно же, я нервничал и жалел, что вышел из дома впритык, длинным надежным путем идти уже не мог и пошел неровной неверной дорогой.

Все же Бог есть. Я еще плутал между гаражами, старательно обходя колдобины, грязь, когда и земля, и дорога, по которой я шел, и этот недостроенный лабиринт, даже снег разом запахла ванилью и свежей горячей выпечкой. Впереди, совсем рядом была хлебопекарня, мне ее называли как ориентир, говорили, что она стоит на той же улице, что и больница, за три дома до нее.

Запах ванили – запах моего детства, тот запах, в окружении которого я был зачат, выношен и рожден, так пахли и моя мать, и бабушка, и наш дом – словом, все, что было в моей жизни хорошего и доброго. Свои первые шесть лет я провел на улице «Правды» – недалеко от до сих пор знаменитой цыганами гостиницы «Советская», напротив огромного кондитерского комбината «Большевик», оттуда и шел этот дух, и я, сколько себя помню, всегда был уверен, что комбинат потому носит гордое имя, что большевики такими и были – мягкими, сдобными и сладкими.

Мать моя страстно любила шоколад, у нее были длинные, тонкие пальцы, ногти она красила фиолетовым лаком, и когда за чашкой кофе с одной из своих многочисленных подруг она брала из цветастой коробки ромбика и башенки шоколадных конфет, это было очень красиво. В три года я узнал, что наборы конфет выпускает фабрика, называемая «Большевичка», и это окончательно утвердило мое представление о большевиках – все равно, кто они – мужчины или женщины, – и даже, если нужно, разрешило столь важный в детстве вопрос, откуда они берутся и как рождаются. Картина мира была построена и завершена.

Известно, насколько крепки в нас первые впечатления детства: уже после института, в сущности, взрослый мужик и достаточно опытный журналист, я всякий раз, как мне приходилось писать о большевиках, невольно делал их мягкими и нежными, а потом долго мучи-

тельно переписывал, и все равно – какими должны быть, они у меня не получались. В общем-то, удивляться не стоит: я продолжал жить в другом мире, и было похоже, что так в нем и останусь. Из-за этих большевиков в нашей газете меня считали как бы дурачком, хотя относились, пожалуй, хорошо. Очерки, которые я писал, пойти в первозданном виде, конечно, не могли, но одно достоинство в них все же имелось: герои были написаны с такой неподдельной любовью и нежностью, что наши старые газетные волки говорили, что завидуют моей искренности. Увы, она сразу пропадала, едва кто-нибудь пытался выправить текст.

Я понимал, что так долго продолжаться не может: несправедливо, что кому-то приходится фактически работать за меня, и года через два уволился. Шаг этот дался мне нелегко, я любил все, связанное с газетой, самый дух ее, да и идти мне, в сущности, было некуда. К тому времени ненапечатанных очерков и рассказов у меня скопилось великое множество, и я, то здесь, то там занимаясь поденкой и халтурой, медленно дрейфовал в поисках изданий, которые устроил бы мой взгляд на жизнь. В конце концов я нашел их там, где, наверное, и должен был найти, – нашел, вернувшись с моими большевиками в детство, туда, откуда и они и я были родом.

Ныне минуло уже десять лет, как меня охотно печатают – охотнее многих моих знакомых по газете – и в «Пионерской правде», и в «Мурзилке», и в «Костре», а особенно в «Малыше». Те первые книжки, которые читают детям и дома, и в яслях, и в детских садах, – мои, потому что в них есть мое собственное детство, доброта, нежность, потому что большевики у меня похожи на маму, добрую, ласковую маму, и, конечно, дети любят их и готовы слушать эти истории еще и еще. Потом, как и все, мои читатели вырастают, узнают мир, понимают, что коммунисты не всегда были добрыми и мягкими, но любовь к ним остается. В общем, стыдиться мне нечего, писал я честно и то, что думал, хотя, может быть, сейчас мои рассказы и выглядят несколько наивно.

Книжки о Ленине в конце концов сделали мне имя, и я незадолго до всей этой истории вдруг получил сразу два чрезвычайно лестных предложения. Предложения, о которых прежде не мог и мечтать. Много лет назад, еще в институте, я написал дипломную работу о замечательной французской писательнице Жермене де Сталь, продолжал дальше собирать о ней материалы и даже в свое время отнес в издательство «Молодая гвардия», в редакцию, которая выпускает серию «Жизнь замечательных людей», заявку на книгу о ней. Разумеется, из той попытки ничего не вышло. Теперь же, когда я думать забыл об этой заявке, «Молодая гвардия» неожиданно прислала мне письмо, где в обрамлении множества реверансов говорилось, что, если я не передумал, издательство готово подписать со мной договор: книга о мадам де Сталь уже в плане.

А ровно через месяц (я только успел взяться за Сталь) «Политиздат» предложил мне стать автором другой популярнейшей в Союзе серии – «Пламенные революционеры». При чем было заявлено, что моя репутация столь безупречна, что и герой, и эпоха – все по моему выбору. Впрочем, наполеоновские планы – в прошлом, за последние три года я не написал ни страницы и кормлюсь лишь гонорарами за переиздания.

\* \* \*

Территория больницы была довольно велика, здания разной архитектуры и разной, но блеклой расцветки стояли безо всякой системы вокруг большой центральной клумбы, которая сейчас, в конце осени, была покрыта желтой с проплешинами травой, уже присыпанной снегом и остатками высаженных гнездами цветов. Корпус, куда я шел, был из блочных построек последних лет, стоял он ровно против ворот, и я, поднявшись на нужный мне седьмой этаж, убедился, что пришел вовремя. Но спешил я зря. Кронфельд был занят, у него был обход, задержавшийся из-за министерской комиссии, и медсестра передала, что он сможет

принять меня не раньше чем через час. Засим дверь в отделение была заперта и я остался один в маленьком, почти как терраса, светлом то ли коридорчике, то ли предбаннике.

Это было нечто вроде западни – ни вызвать самому лифт, ни спуститься по лестнице было нельзя. Окно коридорчика выходило на Яузу, река здесь была совсем узкая, набережная – высокая гранитная стена – почти закрывала от меня воду. Поверху парапет был достроен недавно валиком снега, и оттуда, из глубины, как журавль деревенского колодца, торчала стрела плавучего крана. Я стоял, смотрел на него и все думал, что вот сейчас он начнет кланяться или хотя бы повернется, но так и не дождался.

Мне всего сорок пять лет, однако три года назад у меня после травмы черепа – я поскользнулся на льду около автобусной остановки и упал – начались провалы памяти. Два-три раза в год я уходил из дома и не возвращался. Родным, когда они, разыскивая меня, объезжали морги, дежурили в милицейских справочных, говорили, что живым они меня вряд ли когда-нибудь увидят, но потом, через несколько недель, иногда месяцев, я находился: или арестованный за бродяжничество без документов и, конечно, без денег в каком-нибудь неблизком КПЗ, чаще всего почему-то на юге (меня с детства тянуло на юг, к морю, это – несомненно), или в одной из местных психиатрических клиник. Обычно я бывал крепко избит, весь в ссадинах и кровоподтеках, – когда милиционерами, когда санитарами (говорили, что в этом состоянии я беспокоен, порой даже буен), когда неведомыми попутчиками в странствиях (хотел бы я хоть раз посмотреть на себя в это время со стороны: как я и что я). Потом дома долго болел, но в конце концов все же отходил; от природы я вообще человек крепкий, и даже память ко мне возвращалась, хотя сначала не мог назвать ни своего имени, ни фамилии.

В общем, все пока возвращалось, и мне это было не тяжело и не мучительно, я легко это делал, легко, как нитку разматывал. Я видел, что матери и тетке очень нравится вспоминать вместе со мной то, что было, и чувствовал себя снова ребенком, за которого, когда он оправляется после тяжелой болезни, все радуются, прямо светятся, видя, что он выздоравливает. Но перспективы у меня были плохие – по рассказам врачей, многих подобных мне убивали уголовники, других калечили так, что поставить их на ноги было уже невозможно, третьих – милиция нами заниматься не любила – не находили по году и больше; а главное, память моя после каждого нового приступа должна была восстанавливаться все медленнее и труднее, в конце же концов мне грозила полная амнезия. Собственно, страх перед ней и привел меня в больницу к Кронфельду.

В отделении, у дверей которого я теперь ходил, испытывался препарат, радикально, по слухам, просто чудодейственно, улучшающий кровообращение мозга, а моя болезнь как раз была связана с тем, что после травмы многие сосуды были повреждены и кровь по ним не шла. Это новое лекарство было моим шансом – я это понимал. И все же тот час или немного больше, что длился обход, дался мне с трудом. Не так уж долго я сидел забытый в предбаннике, и не так уж там было страшно: лифты приходили и уходили, за стеклянными дверями все время мелькали люди, можно было их окликнуть, позвать, попросить открыть, даже, на худой конец, можно было закричать, и пришел бы, прервав обход, врач, – все было возможно, и была бездна самых разных выходов, но я за последние месяцы так измотался, что сил уже не осталось.

Первые год-два я крепился, меня хватало даже на то, чтобы относиться к болезни с иронией, я острил, что, теряя память, очищаюсь: всякая дрянь, мерзость уходит, и я снова, как младенец, невинен и чист. Это и в самом деле было верно. Кроме того, болезнь пока протекала куда легче, чем у других; ведь память быстро восстанавливалась и не было никакой потери интеллекта. Может быть, спасала куча витаминов, которые мне ежедневно скормливала мать, во всяком случае, думал я явно не хуже, чем раньше. Словом, и после падения долго все было терпимо, а потом я как-то разом устал. Я начал ждать новых приступов, стал

ловить их, стал их больше и больше бояться и за несколько месяцев себя довел. Врачи считали, что мне нельзя переутомляться, я теперь во всем слушался врачей, ограничивал себя, все время видел, что нет, это я не могу, на это сил у меня не хватит, – и вдруг понял, что я старик.

Но я еще держался, когда вокруг умерли сразу несколько близких мне людей, и умерли они такими одинокими, словно у них был только я – и все. Этого людского одиночества, того, что всех их я теперь должен был помнить, они как бы брошены на меня, я не выдержал и сорвался. Нашли меня где-то за Тулой на вокзале, избитого, ограбленного, и только через месяц опознав, привезли в Москву.

Еще полгода я болел: у меня были отбиты почки, правда, не сильно, и врач, который всю болезнь меня вел и знал лучше, чем я сам, сказал, что впервые, отходя от своего припадка, я не хотел возвращаться, не хотел ничего вспоминать. Я устал терять и хотел остаться без памяти. Он говорил, что раньше во мне была бездна оптимизма, будто все ерунда, недоумение, а теперь он видит, что мозг как бы приспособился к болезни, научился ею пользоваться, освоился в ней, и теперь лечить меня будет куда сложнее, потому что сам я ему больше не помощник. Было и еще одно. Я понимал, что таблетками дело не кончится, рано или поздно, если меня где-нибудь не убьют, я наверняка сделаюсь пациентом отделения старческого склероза, далеко не самого приятного места на свете. Я вдруг осознал то, чем меня давно пугали: меня ждет – и скоро – маразм, потому что основная магистраль моей болезни именно к нему и ведет. Раньше такая перспектива меня лишь забавляла, тема «я среди склеротиков» казалась хорошей шуткой, я даже любил поговорить об этом. В конце концов, мне было только сорок пять лет.

Теперь же, когда то, что я лягу в больницу, подошло вплотную, мне уже некуда было деться, я сам себя туда загнал, я вдруг понял, что шаг за шагом становлюсь человеком, с которым можно делать что угодно. А ведь еще недавно, до последнего припадка, я не боялся ни клиники, ни полной зависимости от санитаров и врачей, ни даже смерти среди вставших в детство стариков, а только беспомощности. Память была моим больным местом, и я боялся лишь того, что было с ней напрямую связано. На большее меня не хватало.

Пожалуй, с начала болезни, после первых же припадков, моя жизнь стала замыкаться, возвращаться назад: я все более и более ценил то, что уже было, то есть уже прожитое; память сделалась центром моего мира, я терял ее так мгновенно, что это больше всего походило на смерть. Смерть ждала меня позади, а не в будущем, и я почти инстинктивно пошел тоже туда – назад, в прошлое. Этот поворот, все более явная и для меня самого, и для моих близких обращенность моей жизни вспять, отнюдь не были, как я боялся вначале, пустым и бессмысленным повторением пройденного. Не знаю почему, может быть, потому, что я шел с другого конца, но эта жизнь была совсем другой, и совсем другие вещи имели в ней значение. Почти сразу я обнаружил, что многое, очень многое было прожито мной как бы предварительно, пунктирно, напрочь не понято и не оценено. Теперь же все мне возвращалось.

То был, конечно, щедрый подарок; никак не меньше нескольких лет я брал от него день за днем, а он не убывал. Его даже становилось больше. И я, видя это, временами едва ли не радовался своей болезни. Врач мой был прав: я приспособился, привык к ней, в общем, смирился и больше не роптал. И все же что-то во мне еще продолжало надеяться на возвращение к обычной жизни, был еще какой-то очаг сопротивления, именно в нем зародилась идея – возможно, мой же врач, знавший, как я сорвался, ее и внушил, – что память мне самому не нужна, пускай ее не будет вовсе (в то время, когда я по месяцу и больше пребывал в беспомощности, я узнал, что можно жить и так); но память моя должна, и, главное, у меня есть на это силы, сохранить тех, кого знал лишь я или, во всяком случае, готов был помнить один я. В реальной жизни в нас не так много ростков альтруизма, чтобы я эту мысль – мой долг их всех запомнить и продлить хотя бы на собственную жизнь – не подхватил, она и стала

тем знаменем, под которым я все еще сопротивлялся болезни. Сыграла здесь роль и другая давняя история.

\* \* \*

В двенадцать лет, 3 мая, в день своих именин, я впервые причащался, а примерно через неделю после этого события, которое и сейчас люблю вспоминать во всех деталях, случайно услышал разговор отца с одним из его друзей о недавно вышедшей статье, посвященной «Синодику опальных» Ивана Грозного. Помню, что тогда сама идея, сама возможность такого «Синодика» поразила меня. Тридцать лет человек бестрепетно убивал себе подобных, зная, что они ни в чем не повинны, и вот на смертном одре он начинает их вспоминать и на помин души каждого оставляет некую толику денег. Кого-то он вспоминает сам, кого-то вспомнили те, с кем он убивал, но многих они, конечно же, вспомнить не могли, они даже имен их не знали, убивали их безымянными; и вот, понимая это, Иван оставляет деньги и на помин души тех, кого, как он пишет: «Ты, Господи, и Сам ведаешь».

Ночью, после того разговора, мне пришла в голову странная мысль: человек может убить другого человека и совсем просто – человека невинного и безгрешного – именно потому, что есть Воскресение, что есть кому вспомнить и воскресить убитого. И еще я вдруг понял, что смерть – это возвращение к Богу, возвращение после долгих и трудных испытаний, после свободы воли и ответственности; об этих предметах отец любил говорить со мной лет с семи, это было как бы возвращение из взрослой жизни в детство или даже в материнскую утробу, словно туда и впрямь можно вернуться. И главное, для Господа ничего не было напрасным, ничего не пропало, не сгинуло, и Он хочет, чтобы так же было и для нас, людей.

Мне казалось, что это ясно следует из «Синодика», но зачем, для чего на земле должна была остаться память о каждом убитом, почему были записаны их имена, а не обо всех равно сказано: «Господи, Ты Сам их ведаешь», – я не понимал, да и сейчас понимаю нетвердо. Тогда же я лишь подумал: неужели мы и вправду все останемся, неужели и вправду мы ни в огне не горим, ни в воде не тонем и казнить, убить до смерти нас тоже невозможно?

К тому времени, о котором сейчас пишу, я уже много лет, во всяком случае, столько, сколько себя помнил, любил Христа, и, как ни странно, любовь к Нему совсем не мешала мне любить Ленина. Я не знаю точно год, когда я узнал о Христе, узнал о Его страданиях и мученической смерти, но возлюбил Его я сразу, возлюбил и душой, и плотью, и кровью, и помыслами, и мне казалось, что так было всегда, то есть я Его всегда знал и любил и всегда Он был со мной.

С тех пор я слышал много здравых рассуждений о том, что нельзя одновременно любить Ленина и Христа – или одного, или другого, – что сам Ленин не любил или даже ненавидел Христа, да и Христу, доведись Ему встретить на Своем пути Ленина, тот вряд ли понравился бы. Но это их личное дело, меня оно даже не должно касаться. Можно сколько угодно смеяться надо мной, но я действительно люблю Ленина и действительно люблю Христа, и верю Христу, и Ленину тоже верю, и благодарю Бога, что мне дан этот дар любить, а другой дар – анализировать, все время метаться и спрашивать себя, за что я его люблю и стоит ли он моей любви, – дан меньше.

Единственным, что омрачало в детстве мою любовь к Христу, была мысль, что я за малостью лет и малостью моих грехов не должен много к Нему обращаться, а мне хотелось этого все время; даже не должен часто Ему молиться, потому что так я отнимаю Его у людей, которым гораздо хуже, чем мне. Я знал, что подобных бедняг много, куда больше, чем веселых и счастливых, и все же в моем детстве было так мало настоящего зла и горя, что я тех несчастных, у которых осталась одна надежда – Христос, понимал плохо, и, как ни странно, первым, кто объяснил мне, что они за люди, был все тот же Грозный.

После разговора о «Синодике» я каждый день, а бывало, и по многу раз в день, стал представлять, точнее, даже разыгрывать в себе, как он умирает. Я представлял, как на смертном одре, перед лицом Господа, этот страшный человек раскаивается и понимает, что убивал невинных. Он плачет, молит Господа о милости, о прощении, он кается, жертвует деньги на помин убитых им душ и сам понимает: гири не равны. Только одно было ему дано в жизни – творить зло, он мог убить тысячи тысяч, но воскресить не способен никого.

Сколько бы он дал сейчас, чтобы спасти хотя бы единственного из им казненных: уж во всяком случае, свое право убивать отдал бы, не задумываясь, но, увы! Впервые он видит всю свою мерзость, всю греховность, и это как бы торжество покаяния, торжество веры в Бога и страха перед Ним, перед Его могуществом. Смирение, трепет, и не потому, что он боится вечных мук – может быть, впервые он даже не помнит о них, – просто он понимает, как велик и праведен Бог и как мал и ничтожен он сам.

Я очень живо представлял себе терзания Грозного, очень любил себе их представлять, и, пожалуй, это – то, что я придумывал, – и было для меня христианством, во всяком случае, самым живым из того, что я знал тогда в вере. Молитвы и обращения Ивана к Богу были для меня ярче и убедительнее собственных, я и молился обычно не за себя, а за него, часто и от его имени: мне нравилось и я верил, что я, ребенок, чистая душа, спасу его, вызволю из ада, но главное, почему я за него молился, – во мне тогда крепко засело, что покаяние соразмерно греху и так же, как я не мог сравниться с Грозным во зле, я не могу сравниться с ним в покаянии и вере.

Отпечаток тех детских молитв, конечно же, остался, да, наверное, не только отпечаток. Они по-прежнему меня держат. Вот и сейчас, когда, начиная работу, я взвешиваю, как назвать мои записки, первое, что приходит в голову: в древнерусской литературе был такой жанр – «плач». Думаю, то, что пойдет ниже, скорее всего, тоже плач, плач по людям, которых я знал и любил. По людям, которые – так уж получилось – ушли раньше времени, как говорят, до срока, и от которых ничего не осталось, кроме моей памяти. А когда уйду я, не останется и ее. Жизнь ни одного из них не сложилась, в ней было мало любви, радости, иногда мало смысла, никто из них по-настоящему ничего сделать не успел, и если мы говорим, что, чтобы спокойно уйти, человек должен осуществиться, то им это дано не было. Они мучились перед смертью и ушли скорбя. Умирая, они чувствовали себя обделенными, опальными и обманутыми жизнью. Так что в память о детстве я вправе назвать это и моим «Синодиком опальных».

\* \* \*

Первый, кого я хочу внести в него, – Николай Петрович Пастухов, бывший прокурор Фрунзенского района Москвы, с которым я познакомился примерно лет семь назад. Светла нас дорога. Мы оба возвращались из Киева в Москву, ехали в нестерпимо жарком двухместном купе международного вагона, поезд, по традиции, безбожно опаздывал, и мы, уже подъезжая к Москве, со скуки разговорились. У Пастухова был друг, к тому времени несколько лет как покойник, тоже прокурор. Они и учились вместе, и вместе шли по чинам, никто из них вперед не вырывался, и, по словам Пастухова, они друг друга считали за братьев, и чем старше становились, тем были ближе. Тот прокурор, фамилия его была Савин, вторым браком был женат на женщине моложе себя на двадцать лет.

«Отец ее работал в торговле, был оговорен и получил по своей статье почти максимальный срок. Но дочь – звали ее Лена – продолжала хлопотать, и по надзору дело попало Савину. Девочка была совершенно героическая, ей еще не было восемнадцати, денег в доме никаких, все конфисковано, мало-мальски сведущие адвокаты отказывают, говорят, что помочь ничем не могут (жила она и раньше без матери, та умерла при родах, одна с отцом – теперь у Лены

и вовсе никого не осталось). Савин сразу к ней проникся. В той истории были замешаны большие люди, и помочь было непросто. Однако они вдвоем почти его вытащили, сократили срок сначала до пяти, потом до трех лет, так что он попал под ближайшую амнистию, и вот за месяц до этой самой амнистии он умер. Девочке сказали, что сердце, но Савин по своим каналам узнал, что забили сокамерники.

Лена была жива только отцом, тем, что она должна его спасти, вернуть, теперь ей все стало безразлично. До дня, пока Савин не решился наконец сделать Лене предложение, она два месяца не выходила из дома, он, как нянька, кормил ее, кажется, даже кухарничал. Никого, кроме него, у Лены не было, Савин тоже был человек одинокий, – словом, она дала согласие. Знакомы они были года полтора, Лена успела к нему привязаться, она вообще была добрая, привязчивая девочка; важно было и то, что по возрасту он был как ее отец, даже немного похож на него, это мне сам Савин говорил, лично я Лениного отца никогда не видел. Вряд ли она поначалу его любила, но потом любила, и сильно, – здесь сомнений нет.

Они жили очень хорошо, даже странно, как хорошо, все годы, кроме последних двух. Он уже чувствовал, что серьезно болен, хотя чем и сколько ему осталось – еще не знал. Савин, конечно, понимал, что умрет намного раньше, чем она, но вдруг ему стало казаться важным не то, какой Лена была ему женой, а то, как будет жить без него, когда он умрет, эта молодая красивая женщина – он уже думал о ней только так, отстраненно. По-моему, Савина поразило, что его не будет, а Лена останется. Савин, наверное, немало думал о том, с кем она будет спать и за кого выйдет замуж, но не это главное; он не собирался ей мешать, просто ему было важно знать, как Лена будет без него и как это: когда она есть, а его нет.

Позже, когда он уже знал, что у него рак и жить ему осталось год, самое большее – полтора, ни о чем другом, кроме как что она будет делать, похоронив его, он и говорить не мог. Все прочее отошло на второй план, даже о собственной смерти он помнил только как об условии, только как о том, что даст ей отдельную от него жизнь. Последние свои месяцы он попросту торопил конец, наотрез отказался принимать лекарства, лишь разрешал делать себе снимающие боль уколы.

Жена, конечно, знала, что он думает, и, похоже, Савин заразил ее своим сумасшествием. Во всяком случае, и Лена, когда я бывал у них, не могла говорить ни о чем ином, поминутно начинала убеждать меня, что Савин не прав, что хочет знать, что с ней будет дальше, если он станет отсюда следить за каждым ее шагом, это сделает ее, Ленину, жизнь невозможной и невыносимой: нельзя нормально жить, когда бывший муж, да еще покойник, за тобой все время подсматривает.

Она тоже его уже похоронила, тоже жила в той будущей жизни, даже нередко говорила о нем „был“. Лишь когда я приходил навестить Савина, она вспоминала, что он еще жив, и тут же начинала искать у меня поддержки. Она, конечно, была постоянно на взводе и все-таки по внешности вела себя разумно; было видно, что она следит за каждым словом, вообще, хочет произвести благоприятное впечатление. Она говорила, что была ему хорошей женой, верной и заботливой, ни разу не изменила, хотя человек он нелегкий и старше на двадцать лет. Но как только он умрет и она его похоронит, ее обязанности по отношению к нему кончатся, нельзя же и вправду требовать, чтобы и дальше она жила им одним. Она настаивала, чтобы я, его самый лучший друг, сказал ему это, объяснил, убедил, что он не прав.

Я говорил ей, что Савин умирает, жить ему осталось считанные недели и на смертном одре никому ничего объяснить невозможно, такие разговоры вести с ним сейчас просто подло, умрет он – и пускай она живет как хочет. Но Лена уже мало что понимала, рассказывала мне, с кем она будет спать, кто что ей предлагал: поездки на Кавказ там, шубы, драгоценности – все это было правдой, красива она была – дай Бог. Однажды она даже обняла меня, поцеловала в губы и потянула на диван, причем Савин в это время не спал и дверь в его комнату была открыта. Я не думаю, что Лена открыла ее специально, что здесь был

расчет: вот он еще жив, а она на его глазах спит с его другом. Все было проще – за живого, тем более за мужика, она Савина давно не считала, а меня хотела подкупить, дать взятку, чтобы я сделал так, чтобы он, мертвый, не мешал ей жить. Конечно, Лена его уже ненавидела, но тоже скорее как мертвого, а он ее любил, тянулся к ней, все старался взять за руку, не отпускал от себя и, в сущности, ничего у нее не просил, может быть, просто хотел как отец знать – он ведь Лене и в самом деле был не только муж, но и отца заменил, – как там она без него будет».

Поезд тогда снова остановился, и я сказал Пастухову: «И что дальше? Она ведь права, а даже если бы была не права – лечь в его могилу вы ведь ее не заставите».

«Да, – согласился он, – первое, что Лена сделала, когда Савин умер, – это составила завещание, по которому должна была быть похоронена совсем на другом кладбище, рядом с матерью».

В Москве мы с Пастуховым продолжали регулярно встречаться, правда, нечасто. Я видел, что он привязался ко мне, обижается, если я долго не звоню и не появляюсь, особенно это стало явно в последний год, когда он вышел на пенсию. И все же мне и в голову не приходило, насколько много я для Пастухова значил. Я понимал, что человек он одинокий, потому что в наших разговорах почти никто, кроме покойного Савина, не упоминался, и все-таки почему-то был твердо уверен, что со своими сослуживцами дружеские связи он сохранил. А потом однажды утром позвонила девяностолетняя мать Пастухова и сказала, что вчера ночью он скорпостижно умер.

Для меня это было совершенно неожиданно, и я хорошо помню, что и в ее голосе тоже было недоумение – она все время не понимала: вот так, почти не болел и моложе ее на тридцать лет, на пенсию вышел, жить бы да жить; возможно, я передаю ее слова неточно, никакой иронии в них, конечно, не было – лишь удивление; я что-то ей стал не слишком уклончиво отвечать, и тут она вдруг сказала, что я был его единственным другом и он, уже умирая, говорил ей только обо мне и вспоминал только Савина и меня, а если считать из живых – меня одного.

Еще она сказала, что Пастухов хотел, чтобы я был его душеприказчиком, и его бумаги она должна передать мне, а я уж как распорядюсь. Я тогда не поверил, что, кроме меня, у Пастухова не было близких людей, но похороны все расставили по местам, нас было семеро: его мать, я, представитель от месткома райпрокуратуры, где он работал и состоял на партучете, и оттуда же четверо стажеров, которые несли гроб.

После того первого, «поездного» разговора о савинской жене имя ее во время наших встреч всплывало не раз. Дважды или трижды, когда в жизни Лены случалось что-то неожиданное и Пастухов не знал, как поступить, он приходил ко мне советоваться, и тогда мы с ним подолгу о ней разговаривали; но и кроме этого она упоминалась почти в каждое наше свидание, так что я неплохо представлял себе, как складывалась ее жизнь после смерти Савина. Я, например, знал, что Пастухов за несколько дней до кончины Савина дал ему слово не только помогать Лене, сделать все, чтобы она была хорошо устроена, но и держать Савина в курсе ее судьбы. Еще при мне Пастухов регулярно, раз в неделю, ездил на могилу Савина.

Потом визиты на кладбище прекратились или, во всяком случае, сделались редкими и необязательными. Я знал их время и как-то, когда Пастухов вдруг назначил встречу на тот же день и час, спросил его, и он сказал, что уже несколько месяцев ездит к Савину лишь в дни годовщин и только для себя, в остальном нет необходимости – все, что он обещал Савину, делается и без него, Пастухова. За полгода до этого разговора он мне рассказывал, что Лена удачно вышла замуж, муж носит ее на руках. Работает он в торговле, как и ее отец, среди своих Лене легко, хорошо, и она буквально расцвела. Такой красивой он ее не видел много лет. Было ясно, что Пастухов искренне рад и даже испытывает облегчение, что данную часть завещания Савина выполнил: Лена устроена.

Мы тогда заговорили о торговле, о царящем там повальном воровстве: по Москве уже второй год гремели судебные процессы директоров крупнейших гастрономов, Пастухов принимал участие в расследовании и знал детали из первых рук. Настроен он был до крайности пессимистично, считал, что не воровать нельзя, иначе просто не выжить, но самое страшное – во главе наиболее умелые, так что, стоит их посадить, все сразу разваливается. В итоге гибнет куда больше, чем они разворовывают. Сказал он и что в одном из дел замешан новый муж Лены, правда, неглубоко. Он как раз из умелых, да и берет для того поста, который занимает, немного, поэтому посадят его вряд ли. Если же и до него дойдет очередь, Пастухов ради памяти Савина ему поможет, причем сделает это с чистой совестью, потому что в наших собачьих условиях пользы от него больше, чем вреда.

Однако не все здесь было просто. Пастухов был законник, настоящий фанатик, и то, что ему ради Савина пришлось пойти на прямое нарушение закона, без всяких оснований прикрыть дело мужа Лены, он переживал очень тяжело. Правда, Пастухов и торгош тогда очень сблизилась, все будто вернулось к началу их знакомства. Первые недели после нового замужества Лены Пастухов бывал у них дома часто и как бы на правах посаженного отца; однажды они даже вместе, втроем, ездили на могилу Савина, но скоро отношения с Леной у Пастухова испортились. Почему – догадаться нетрудно: она знала об обязательствах перед Савиным, которые он на себя взял, и, конечно, чуть ли не ежедневно видеть человека, который за тобой следит и о тебе доносит, было ей неприятно. Она много раз требовала от мужа, чтобы он отвадил Пастухова от дома, но торгош словно знал, что Пастухов ему еще понадобится, и уклонялся.

Пастухов мне говорил, что посвятил его во все обстоятельства, связанные со смертью Савина, едва они с Леной сошлись, но представить, что тот сразу согласится помогать, во всяком случае согласится добровольно, я не могу. В сущности, у Лены после загса началась совершенно другая жизнь, и единственный, кто мог регулярно поставлять информацию об этой жизни для Савина, был он, новый ее муж. Пастухов долго втолковывал торгошу, как важно для него, Пастухова, чтобы то, о чем просил ближайший друг, было сделано, убеждал, что Савин имеет на это право как первый муж Лены, что вообще по любым нравственным законам правильно, чтобы последняя просьба умершего была исполнена. Но торгош отказывался его понимать, не слушал никаких доводов, только повторял Пастухову, что знает, чем ему обязан, готов для него на очень многое, но рассказывать чужому человеку интимные подробности своей жизни с женой не может.

В некий момент Пастухов – разговор был в его квартире, – очевидно не рассчитав, пережал. Уйдя от него, муж Лены тяжело напился (так он был чуть ли не трезвенник), а когда его привезли домой, полночи грязно ругался, звал жену «блядь», кричал ей: «Ты знаешь, чего хотят от меня твои друзья-менты?!» – и плакал, что товарищи его предупреждали: нельзя их брату родниться с прокурорами. Она тоже плакала, целовала ему руки, говорила, что сама будет все рассказывать Савину, что они никому ничего не скажут, а Пастухова ему бояться не надо, сделать он ничего не посмеет. В тот раз ей удалось его успокоить, и он заснул.

Некоторое время она действительно сама ездила на кладбище, а потом Пастухов сказал, что ей ходить не надо, это всем тяжело, в первую очередь жалко Савина: зачем ему знать, как она его ненавидит. Разговор был перед самым отъездом Пастухова в отпуск и поэтому лишь много позже я узнал, что муж Лены, когда она ему сказала, что к Савину ездить теперь снова будет он, не говоря ни слова, собрал вещи и ушел. Лена думала, что это конец, и, пожалуй, была рада. Она устала. Но через две недели – Пастухов еще отдыхал – торгош вернулся: он был сильно влюблен в Лену и понял, что оставить ее, что бы ни было, не сможет.

Возвратившись в Москву, Пастухов нашел его уже сломленным и согласным на все. Когда-то Пастухов объяснял мне, что так же обычно бывает и во время следствия: обвиняемый ломается разом, стоит в одном-единственном месте пробить его оборону – она рассы-

пается, и перед тобой теперь человек, который ищет, буквально цепляется за тебя, чтобы скорее покаяться.

«Конечно, – говорил Пастухов, – он боялся, что я его посажу, но и раньше он знал, что я могу его посадить, однако тогда вел себя довольно смело, теперь же, когда понял, что не может без нее жить, сообразил, что, если сядет, ее потеряет, и испугался, то есть она его, в общем, сломала, а не я».

И еще: он вдруг стал понимать Савина, ведь здесь то же самое – его не будет, а она останется. Пастухов тогда рассказывал, что телефон зазвонил, буквально как он вошел, и он сразу догадался: это Ленин муж. Поздоровались, тот сказал, что вот уже сутки звонит каждый час, а затем без перехода вдруг принялся объяснять ему про Савина, причем теми же словами, какими раньше сам Пастухов, только лучше. Что Савин Лену женщиной сделал, а это, что бы потом ни было, деться уже никуда не может, говорил, что Леной и Савиным прожита вместе целая жизнь и она не должна быть вот так, одним махом, зачеркнута. Что он теперь понимает, кто Савин Лене, и Лена, конечно, тоже понимает, кто Савин ей, и он больше не намерен ей потакать, когда она пытается сделать вид, что ничего у них с Савиним не было. Естественно, он будет аккуратно ездить на кладбище – здесь вопросов нет, звонит же он потому, что ему необходимо срочно обсудить, что он должен рассказывать Савину, за этим звучало: «чтобы Савин с Пастуховым и дальше разрешали ему пользоваться Леной».

«Как вы думаете, – допытывался он раз за разом, – стоит ли говорить Савину вот об этом и об этом тоже?..»

«Разговор был не телефонный, – сказал Пастухов, – на следующий день он ко мне пришел, и мы с ним подробно обсудили детали».

Много позже я спрашивал Пастухова, проверял ли он Лениного мужа. Он сказал, что трижды, хотя особой нужды в этом не было: они ведь продолжали регулярно встречаться, и по его поведению было видно, что договоренности соблюдаются им полностью.

«Люди, когда их ломаешь, – говорил Пастухов, – врать больше не могут, только хитрят по мелочам. Вообще их постоянно, когда надо и когда не надо, тянет исповедоваться, каждому они готовы душу раскрыть; судя по всему, он и Лене сам рассказал, что ездит на могилу Савина (прежде она почему-то была уверена, что я оставил их в покое), во всяком случае, она как-то прознала, что муж стучит на нее, и не простила. Думала с ним порвать – Лена знала себе цену, пару не хуже и не беднее она нашла бы без труда, – но тогда она уже начала меня или, что то же самое, Савина бояться, понимала, что мы так просто не отвяжемся. И муж ее это знал, то есть знал, что мы Лену для него как бы сохраняем, но дело не в этом, не в том, что он был мне признателен, – к тому времени Савин стал ему необходим. Он жаловался Савину на Лену, искал сочувствия, в общем, выговаривался, и ему становилось легче».

Савин явно готов был делить с ним обиды и оскорбления, на которые Лена не скупилась, и союз их с каждым днем креп. Был, правда, один период, когда муж Лены повел себя не слишком корректно. Лена тогда стала ему изменять – вообще она была вольная птица, на условности внимания не обращала, иметь независимую, закрытую от мужа и Савина жизнь для нее к тому времени сделалось манией, в ней она пыталась спастись, оторваться от них обоих. И похоже, она сознательно вела себя так, чтобы им вступаться в эту ее отдельную жизнь было до крайности неприятно. Однако, несмотря на разные ухищрения, подробности ее адюльтеров быстро становились мужу известны, раз он даже застал Лену с любовником, и вот со всем, что он успел узнать и собрать, он сразу шел к Савину и, не стесняясь скабрёзностей, ему рассказывал. Он явно хотел дать понять, что изменяет она одному Савину, а он здесь ни при чем – просто частный сыщик.

«Довольно скоро торгош слежкой увлекся. Сыск – засасывающее занятие: кому не хочется добыть, разведать то, что от тебя всеми силами пытаются скрыть. Да и занимался

он этим вроде бы не для себя, а для меня и Савина, – говорил Пастухов, – что, конечно, разрешало многие нравственные проблемы».

Так он вел себя месяца два, а потом (Пастухову даже не пришлось вмешиваться) взялся за ум. В сущности, Ленин муж был неплохой человек и скоро понял, что ведет себя неправильно; кем бы он ни был – местоблюститель, временная замена, просто пользователь Лены, – изменяла она не только Савину, но и ему. Но суть в другом: он и Савин действительно с каждым годом становились все ближе, все нужнее друг другу, и я думаю, что если сказать (подобное я не однажды слышал и от Пастухова), что он стал продолжением Савина, здесь не будет большого преувеличения, они и вправду сделались словно одним человеком.

Для мужа Лены такой исход, вне всяких сомнений, был спасением, но я не знал, насколько хорошо он это понимает, и теперь, когда Пастухов умер, испугался, что он поспешит все разрушить. Я боялся, очень боялся, что, сделавшись душеприказчиком Пастухова, именно я шантажом и угрозами должен буду поддерживать сооруженную им конструкцию. Этого я совсем не хотел, я всегда бежал ответственности, не умел и не любил командовать людьми, кроме того, в то время я был уже болен и вряд ли такое мне вообще было под силу. И еще одно меня смущало. Несмотря на все усилия, Пастухову не удалось добиться, чтобы Лена переделала завещание и согласилась быть похороненной вместе с Савиным. Следовательно, и это могло остаться на мне, а никаких идей, как ее уломать, у меня не было.

К счастью, Пастухов, очевидно, трезво оценивал мои возможности; на пухлом конверте с материалами дела Лениного мужа была приклеена адресованная мне записка с просьбой за ненадобностью конверт уничтожить, причем без крайней нужды – последнее было подчеркнуто – не читая. И вправду, смерть Пастухова отношения Лены с мужем, по видимости, не изменила, вообще ничего не изменилось, во всяком случае, он, как и прежде, регулярно, каждую неделю продолжал ездить на могилу Савина.

У меня нет особых сомнений, что Пастухов догадывался, насколько прочно выстроенное им здание: именно прочность и устойчивость такого странного любовного треугольника должна была натолкнуть его на мысль, что во всем этом есть нечто чрезвычайно важное и справедливое. Настолько важное, что оно могло оправдать и то, что он нарушил закон, и то, что Лена и ее муж, безусловно, были людьми глубоко несчастными. Он думал, что здесь, может быть, находится ключ к пониманию взаимных обязательств мужей и жен, к закону, который сообщит их отношениям равновесие и гармонию. Пастухову очень импонировало, что он никогда не был женат, значит, нигде и ни в чем не заинтересован, может смотреть на эти вопросы, как и должно юристу, спокойно и беспристрастно. Он был независим и свободен от любого влияния, глядел со стороны, откуда только и можно увидеть все как есть.

Подобных обоснований его права разрабатывать закон о браке, подчас чрезвычайно тонких и, как я понимаю, юридически безупречных, я обнаружил в бумагах Пастухова много страниц и ждал, что если не вся, то большая часть работы над законом им завершена. Однако в итоге нашел, увы, лишь несколько не слишком оригинальных тезисов. Все же понять из них, чего хотел Пастухов, нетрудно. Он явно верил в загробную жизнь, правда, для него она играла подчиненную роль, была несамостоятельной. Люди оттуда продолжали смотреть на нас, и особенно пристально – на жизнь своих родных, которая их по-прежнему занимала, трогала, касалась, однако влиять ни на что они уже не могли.

Раз так, считал Пастухов, мертвые обладают неотъемлемым правом – знать, и ничто, ни плохое, ни хорошее, не должно быть от них скрыто. Кроме того, он писал, что первый брак свят, вступившие в него, как бы ни сложилась в дальнейшем их судьба, должны быть после смерти похоронены в одной могиле, и, прерывая текст, жаловался, что, видно, не сумеет обеспечить этого Савину. Он отдавал себе отчет, что права вдовы не следует ограничивать, но думал, что, зная, что мужу известна ее жизнь и она, когда умрет, будет лежать с ним рядом, женщина сама будет себя сдерживать. Вот, собственно, и все.

Разбирая пастуховский архив, я ждал откровения, может быть, потому, даже навверное потому, что был виноват перед ним – мы виделись слишком редко – и, конечно, был разочарован результатом. Лишь позже, и то не скоро, я понял, насколько мало надо было Пастухову: ему просто было важно, чтобы я, вообще хоть кто-то, знал, о чем он думал, а потом дальше думал об этом сам и помнил о нем. То есть работа и должна была быть только начата, только намечена. Он пока лишь хотел принять меня в свою игру, объяснить ее правила, ее законы, а затем мы вместе сели бы и начали говорить о деталях, обсуждать, думать, советовать, делали бы все неспешно, обстоятельно, соразмерно серьезности и важности темы; не возражал он и против затяжки работы, самой долгой затяжки, потому что, пока работа не кончилась, все это время я бы помнил о нем. И еще: он любил Савина.

\* \* \*

Второй человек, кого я хочу внести в «Синодик», это Вера Николаевна Рождественская. Она была женой брата моего деда – как такое родство называется короче, я не знаю, – и три года назад мне в руки попали четыре тома ее воспоминаний. Мне тогда даже в голову не приходило, что она жива, что вообще жив кто-нибудь из их поколения. Незадолго перед тем я по вполне определенным причинам стал интересоваться историей своей семьи, ее происхождением, занятиями, нравом; произошло это вскоре после смерти отца и, как я теперь понимаю, было попыткой вместе с прочим наследством перенять все то, что связывало его с родными. Смерть отца оборвала тысячи всяких линий, отношений, я оказался как бы отрезан от прошлого.

Отец, пока был жив, мало рассказывал о детстве, о своих отце и матери, вообще о родственниках; иногда меня это раздражало, и я настойчиво расспрашивал то об одном, то о другом, но, в общем, понимал, что он просто бережет меня: позади было много страшного и непростительного, а я был ребенок. Будь у меня дети, я, без сомнения, поступал бы так же, но когда он умер и я после похорон стал понимать и обживать новое свое место в этом мире, фактически его место, – оказалось, что я как бы самозванец, даже рассказать мне, кто я сам и откуда, некому.

Долгое время любые попытки узнать хоть что-то достоверное о нашей семье были безуспешны: или это был заговор, или о ней и правда никто ничего не знал. Я без особого толка опросил всех дальних родственников – из ближних у меня нет никого, вообще каждого, кто, по моим предположениям, мог знать нашу семью, когда вдруг мне позвонила троюродная сестра отца и сказала, что еще жива такая Вера Николаевна Рождественская: если кто-то что-нибудь знает о нас, то именно она; добавила, что, если я хочу, можно попробовать договориться с ее дочерью о моем визите. Правда, есть одна сложность: последнее время Вера Николаевна прихварывает и общаться с ней будет нелегко. Через три дня тетка перезвонила и, продиктовав адрес, сказала, что завтра вечером меня ждут.

Между «Курской» и «Таганской», с той стороны Садового кольца, которая ближе к центру, за большим академическим домом, чуть утопленная – надо было по лесенке спуститься вниз – стояла хрущевская пятиэтажка, она и была мне нужна. Как путь, так и основные ориентиры тетка расписала очень подробно и, главное, правильно, но я все равно запутался и пришел на полчаса позже. Встретили меня дочь Веры Николаевны Аня и старая ласковая колли по имени Настя, и я, оправдавшись в опоздании, узнал, что дом этот четвертый, в котором они живут, но все они стоят на одном месте. Сначала здесь была деревянная изба-пятистенка, затем большой, тоже деревянный дом, дальше его снесли и построили каменный – для причта двух ближайших храмов, а теперь – нынешняя хрущоба, откуда их гонят, но они из своего района уезжать никуда не хотят и вот уже третий год держатся.

Все это Аня рассказала мне, пока я раздевался, после чего повела в свою комнату и принялась жаловаться, что мать с лета болеет и ей трудно общаться с чужими, вообще с любым, кого она плохо знает. Было видно, что Аня недовольна, что пригласила меня, и не знает, как поступить. В подобную ситуацию я, честно говоря, раньше не попадал: подняться и попроситься, так и не повидав Веры Николаевны, казалось глупым, хотя о том, какая болезнь имеется в виду, догадаться было нетрудно: Вера Николаевна явно была в маразме, и почему тетка не сказала мне этого прямо, воспользовалась зачем-то эвфемизмом, я объяснить не мог.

Похоже, мы с Аней понимали друг друга с полуслова, во всяком случае стоило мне подумать, что у Веры Николаевны маразм, она сразу оставила разговор об абстрактных хворостях и, словно оправдываясь, затараторила, что раньше у мамы была великолепная память, вообще у многих в их роду великолепная память; кроме того, мама, как, в свою очередь, ее мама, с пяти лет была приучена вести дневник: записывать обязательно каждый день и все-все, так что она ничего не забывала и не теряла – что прожила, оставалось с ней.

Когда же маме исполнилось восемьдесят, то есть три года назад, она решила написать воспоминания о своей жизни, и она, Аня, непонятно зачем ее поддержала, хотя очевидно было, что зря. Ведь дневники сохранились, а любые непосредственные впечатления, конечно же, живее и искреннее, чем обработанные, отделанные воспоминания. Но это она понимает сейчас, а тогда она мать очень поощряла, и та, пока не заболела, успела написать целых четыре тома. Эти тома и съели ее память. Сначала в семье не обращали внимания, а потом заметили, что стоит маме записать какую-нибудь историю, она перестает ее помнить, вернее, помнит очень расплывчато, будто в дымке.

«В общем, это понятно, – объясняла Аня, – так все, что не попало в дневник, было записано у мамы в голове, и она знала, что, если забудет, все как бы умрет или даже вообще не рождалось, теперь же ничего помнить ей стало не нужно».

Потом Аня принялась меня убеждать, что мама прожила тяжелую, страшную жизнь, но не опустила, сумела одна поднять и вырастить трех дочерей; было видно, что она ее очень любит, гордится ею и боится, что я все разрушу. В их квартире я был чужеродным началом, которое в одночасье могло сломать всю длинную жизнь, которую они вместе прожили. По внешности ничего бы не изменилось, но сделалось бы, стоило Ане хоть раз посмотреть на мать моими глазами, фальшивым и неискренним. Для меня визит потерял всякий смысл: вряд ли в нынешнем состоянии Вера Николаевна могла рассказать много интересного; кроме того, четыре тома воспоминаний, конечно же, были ценнее любых разговоров. Я уже собирался попросить их, но тут Аня решила, что ее любовь к матери не должна бояться испытаний: она поднялась и твердо сказала, что нас уже заждались.

После сказанного выше впечатление, которое произвела на меня Вера Николаевна, было очень хорошим. Она была статна, суха, и, несмотря на восемьдесят лет, в ней была видна порода. Передо мной сидела по-настоящему красивая старуха, которую портил лишь большой и, когда она вскидывала голову, нелепо болтающийся зуб. Даже то, что она больна, я понял не сразу.

Представили и встретили меня очень тепло, как старого знакомого: Аня подала чай, принесла красивый пирог, который, как она несколько раз подчеркнула, делала сама Вера Николаевна и именно потому, что должен был прийти я. Вообще, Аня все время старалась сказать маме что-нибудь приятное, в том же духе режиссировала и мной. Так что я хвалил пирог после каждого съеденного куса: он и вправду был неплох.

Конечно, ей было нелегко с матерью и позже, когда она убедилась, что мне у них хорошо, – Вера Николаевна тогда уже сидела за пианино, то играя нам свои любимые вальсы: «Амурские волны» и «На сопках Маньчжурии», то рассказывая о детстве, в частности, о Русско-японской войне (вальсы были явно на тему) – она вдруг сказала, что мама всегда

отлично пекла, пытается и сейчас, но давно путает соль с сахаром и ей, Ане, все приходится выбрасывать и делать наново.

Насколько серьезно больна Вера Николаевна, я понял лишь через час, когда она, устав, стала путаться и повторяться; прежде она говорила нормально, ничего – ни интонации, ни выражение лица – не было сбито и нарушено, и все равно наша беседа была странной. О моем отце она рассказывала с большой охотой, ясно помнила, что познакомились они в Новый год, который в семье был любимым праздником и справлялся по возможности пышно. Вера Николаевна вспоминала елку, игрушки, подарки, которые получили другие и она сама, тогда только что введенная в дом.

Тот двоюродный дед, ее муж, очень любил моего отца, они были почти ровесники, отец был самым легким и веселым в нашей совсем не веселой семье, и она тоже вслед за мужем быстро привязалась к нему. Она и сейчас говорила об отце на редкость нежно. В начале разговора я сказал, что отец два месяца назад умер, но мир в ней был закончен и завершен, кто живой и кто умер, было установлено в нем раз и навсегда, и встроить в него мое известие она не сумела.

Вскоре я заметил, что Вера Николаевна принимает меня за отца, даже так же называет: Андрюша. Аня ее ошибку поняла еще раньше и, испуганная, – она боялась, что я обижусь, – пыталась мать поправить, объяснить, что я сын Андрея, а сам Андрей недавно умер, но мать и от нее это не приняла. В сущности, мне было все равно, и я остановил Аню. Позже я вдруг поймал себя на том, что мне нравится, что меня принимают за отца, видят во мне его и вспоминают так ласково. Все же я снова сказал Вере Николаевне, что отец умер, но опять услышан не был. Внешне мы с отцом и вправду похожи, и перед собой она видела его, тем более что, когда Вера Николаевна последний раз была у нас дома, – дело было еще перед войной, – отцу было немногим больше лет, чем мне сейчас. То, что Андрей умер, для нее звучало неумной шуткой: какое умер, когда сидит напротив и пьет чай.

В тот вечер я вообще все время ставил их в неудобное положение: сначала Аню, которая не хотела пускать меня к матери, но не знала, как отказать, теперь Веру Николаевну. Она легко и с удовольствием вспоминала то, где она и отец были вместе, а когда я спрашивал об отце отдельно, удивлялась: ведь она думала, что я спрашиваю ее о себе, и, конечно, ей казалось странным, что я так себя не помню и так собой интересуюсь. Несколько раз она удивилась моей забывчивости, а потом с укором сказала: «Андрюша, а ты разве сам не помнишь?»

Только тогда я поменял тему. Я спросил Веру Николаевну о ее детстве. Судя по всему, она была довольна, что разговор повернул, и отвечала очень живо. Гимназия, первые бальные туфельки, дача и тамошние любительские спектакли, бойкот немецких магазинов в четырнадцатом году и подаренная ей незадолго перед войной чистопородная овчарка колли – все это она помнила хорошо, со множеством подробностей, и, главное, светло, и я был рад, что увел ее от нашей семьи. Так она говорила минут двадцать, а потом начала упираться в две вещи, которые, очевидно, ее сильно угнетали. Наткнувшись на них, она по второму кругу принималась все пересказывать. Обычно делалось это слово в слово, и лишь когда Аня, словно забыв, что мать больна, упрекала ее, та, снисходя, добавляла две-три детали.

Первая история касалась ее любимой старшей сестры. У той было редкое по красоте меццо-сопрано. Уже на четвертом курсе консерватории она дважды пела в Большом театре, и считалось, что ее ждет блестящая карьера. Но в девятнадцатом году, во время голода, сестра со студентом-турком, снимавшим по соседству комнату, поехала за крупой на Волгу. Где-то под Самарой и она, и турок пропали, вернее, отец Веры Николаевны через полгода получил справку, что в самарском госпитале она умерла от тифа, но и сама Вера Николаевна, и вся семья были уверены, что турок выкрал ее, увез в Стамбул и там продал в гарем. Тогда вроде бы такие вещи случались. Позже они не раз пытались найти хоть какие-нибудь ее следы,

дважды ездили в Самару, но безуспешно. В сущности, это был крест, который лежал на них всех, их общий грех: каждый мог поехать вместо нее, но поехала она.

Вторая тема, к которой Вера Николаевна возвращалась, была связана с моим двоюродным дедом. Они расписались в двадцать третьем году и прожили вместе пятнадцать лет, до конца тридцать седьмого, когда дед был арестован и через три месяца расстрелян. По общему свидетельству, их брак был на редкость счастливый. Она родила мужу трех дочерей, была безумно в него влюблена и, собственно, затеяла писание воспоминаний именно для того, чтобы осталась история их любви. Все годы ее жизни с дедом сохранились, вернее, должны были сохраниться в ней с предельной четкостью, потому что сразу после его ареста и гибели жизнь Веры Николаевны кончилась.

Из Грозного, где они до этого жили и где ее муж был начальником крупнейших после бакинских нефтепромыслов страны, она, забрав детей, немедленно выехала в Москву и здесь, в доме родителей, в буквальном смысле спряталась. Та ее прошлая грозненская жизнь не только была наполнена дедом, любовью к нему, но и сама она играла в ней достойную, равную ему роль. В частности, она была одним из организаторов популярнейшего в тридцатые годы движения «Жены инженерно-технических работников (ИТР) – большая культурная сила», вела в Грозном кучу разных кружков, читала лекции на заводах и в ФЗУ и даже в том же тридцать седьмом, за несколько месяцев до его ареста, получила в Кремле из рук Калинина большой и нечастый тогда орден Трудового Красного Знамени. Из-за этого в Москве она с дочерьми никогда не ходила в Парк культуры, где чуть ли не до смерти Сталина висел у входа ее портрет с тем самым орденом – боялась, что ее опознают и арестуют.

Отъезд из Грозного резко и навсегда оборвал ту жизнь, все, что в ней было; до самой пенсии она, несмотря на высшее образование, проработала машинисткой в какой-то захудалой конторе, жила тяжело и безрадостно, с трудом сводя концы с концами. В новой жизни не было ничего, что могло бы заслонить, отодвинуть время, которое она прожила с моим двоюродным дедом.

Она с дочерьми часто подголаживала и все же сумела поднять их. Ане она говорила, что у нее хватило на это сил потому, что была та, другая, жизнь. Перед моим дедом она была чиста, как только может быть чиста женщина, но одна вещь ее смущала и не давала покоя. Брак с ним был для нее второй, раньше она год была замужем за каким-то гимназическим учителем, но еще до знакомства с дедом от него ушла. Сейчас, когда она при дочери говорила со мной, ей не хотелось, чтобы Аня про учителя знала. Она вообще не хотела, чтобы в ее жизни был еще хотя бы один мужчина, – это оскорбляло ее любовь, делало ее виновной перед мужем, она как бы его не дождалась. Чтобы вычеркнуть тот брак, Вера Николаевна встречу с моим двоюродным дедом отодвигала все дальше и дальше в прошлое, пока не сделала себя совсем девочкой. Роман завязался вполне прозаически. Она гуляла с собакой недалеко от дома, на Яузском бульваре, потом села на лавку, где дед читал газету, и они разговорились. Сначала она сказала, что ей тогда был двадцать один год, но затем при каждом повторении стала уменьшать возраст. В конце концов она буквально настояла, что ей тогда было только шестнадцать.

И главное, почему, собственно, я и включил имя Веры Николаевны в «Синодик». Весь вечер, что я у нее провел, она подробно, с удовольствием вспоминала свое детство, но когда я спрашивал Веру Николаевну о нашей семье, обо всех, кроме отца, отвечала уклончиво и неохотно, говорила, что многое помнит плохо, да ей и необязательно теперь помнить – ведь она все записала, и если я хочу, Аня даст мне ее воспоминания. Аня действительно мне их дала, и я взахлеб, за три дня, прочел том за томом; местами они были написаны совершенно блистательно, в других кусках уже чувствовалась болезнь, но не в этом суть: кроме той встречи на Яузском бульваре, в них нигде и ни разу не упоминался ее муж, тот,

в память которого и ради которого все писалось. Яузским бульваром записки обрывались, дальше не было написано ничего, ни единой строки.

Я уже давно думаю об этой истории, но пока никак не могу для себя уяснить: если Вера Николаевна права и все не записанное действительно уходит, умирает, значит, ничего не останется и от ее любви к деду, а ее вера, что воспоминания завершены, – просто самозащита, своего рода сумасшествие? Или же в самом деле то, что их связывало, каким-то образом где-то, предположим, у Бога, хранится и, следовательно, уцелеет, не канет в небытие?

\* \* \*

Третий, о ком я буду писать, Лев Николаевич Толстой. Я уже давно знал, что должен его помянуть, но понял, что готов, только сейчас, уже здесь, в больнице, после длинного разговора с двумя его учениками, Морозовым и Сабуровым, прожившими по заветам учителя один – девять, другой – двенадцать лет в сельскохозяйственной коммуне на Алтае. Не стоит думать, что большую часть того, что тут написано, я узнал от них, это не так: основные факты жизни Толстого рассказал мне в свое время наш сосед по квартире на улице «Правды» Семен Евгеньевич Кочин, о котором ниже речь еще пойдет. Однако начать работу я смог лишь теперь, после знакомства с ними – последователями Толстого.

Разговор, в котором, кроме Морозова, Сабурова и меня, участвовало довольно много разного народа, долго крутился вокруг двух известных точек зрения на толстовство. Одна заключалась в том, что Толстой создал настолько этически чистое и безупречное учение, что использовать его во зло невозможно, другая утверждала, что среди наиболее жестоких НКВДовских следователей было немало бывших толстовцев. Кочин, в тридцать шестом году прошедший в Лефортово через руки подобного следователя, объяснял мне когда-то, почему так получалось.

«Все равно, – говорил он, – лучше людей, чем ученики Толстого, я в жизни не встречал. То есть по одиночке, по личной природе попадались мне, конечно, и не хуже, но чтоб отмеченные одной метой, хорошие через учение – только они, да еще, пожалуй, некоторые сектанты. И на коммунах, которыми они селились, тоже лежала благодать, но уж чересчур далеко они ото всех отошли, однако мостик назад оставили, и для многих это сделалось страшным искушением. Толстой, их учитель, очень скакнул в своих нравственных принципах, как бы совсем себя переделал, то есть при всей добровольности толстовства оно все равно было насилием над обычной человеческой природой.

В сущности, цель у толстовцев была почти та же, что у большевиков, правда, средства совершенно иные, ни в чем со средствами коммунистов не согласные, – полная свобода: в любой день можешь выйти из коммуны, в любой, если коммуна не возражает, в нее вернуться; однако то, что они сообществом, коммуной строили из себя новых людей, спасались коллективом, и то, что цель для них была так близка, позволяло толстовцам легко, как родным, войти в Советскую Россию, чувствовать себя в ней дома. У них уже был опыт новой коммунистической жизни, и жизнь эта была воистину прекрасна. Под влиянием Толстого они порвали с обычным существованием, со всеми его компромиссами и слабостью, со всей ложью, грязью и униженностью, которые в нем были, и действительно построили рай на земле. Он оказался близок, оказался достижим и возможен, и главное – без чуда, без Бога.

Это-то, что они уже жили в раю, был их вклад, их приданое, то, с чем они приходили в уже не толстовскую, а советскую коммуны. Шли же они туда, во всяком случае многие из них, просто чтобы приблизить превращение земли в рай; власть, государственная машина, которая была в руках большевиков, могла все бесконечно ускорить, так ускорить, что не только они, ученики Толстого, а все получили бы долю в земном раю, в котором, как и в

небесном, блага, сколько их ни раздавай, – не уменьшаются, наоборот: чем больше вошедших праведных, тем больше у каждого.

В толстовцах, вернувшихся назад в нашу жизнь, чтобы всем подать добрую весть о рае, сказать, что он и в самом деле есть и он точно такой, как говорили пророки от века и, главное, он рядом, в них, которые, как проводники, хотели повести нас за собой, – если они становились следователями, было намного больше вдохновения и идеализма, намного больше восторга и бескомпромиссности, чем в других следователях. В них вовсе не было сомнения в своей правоте, не было сомнения, что те, кто попал в их руки, действительно общие, общинные враги, враги, сбивающие коммуны с дороги в рай. И еще: эти люди, уже раз сами себя переделавшие, относились с брезгливостью к обыденной жизни; прежде они тоже за нее цеплялись, но все же сумели с ней порвать, и то, что другие продолжают за нее держаться, казалось им неправильным – это была слабость, трусость, которая заслуживала не сострадания, а презрения. Вообще люди, особенно остро чувствующие несовершенство земного мира, склонны мало ценить чужую жизнь».

Толстой, говорил Кочин, когда он создавал свое учение о добре, счастье, справедливости, не заметил, что если он хочет достичь их в той полноте и абсолютности, которая среди людей встречается редко, которая дается лишь святым, он должен или быть Богом, или навсегда ото всех уйти, жить один. Раньше, ища покоя и уединения, уходили в пустыню, потом в монастырь, и это было разумно.

Существовало, хотя и не везде, правило: когда человек покидал «мир», он должен был получить согласие родных, потому что нельзя уходить в жизнь без греха, причиняя своим уходом боль и горе близким, – добро не должно причинять зло. Потом времена изменились, в монастырь теперь мало кто шел. Попытка же жить по-новому, ничего вокруг не меняя, превращала все в ложь, – так было спокон века, и здесь ничего не поделать. Чтобы избавиться от нее, у людей, остающихся в миру, был лишь один путь – покончить со всем, что было прежде, вычеркнуть его из жизни, вычеркнуть за то, что оно несовершенно. Человек, уходя в монастырь, может уйти и от своего прошлого, – остающемуся это не дано, но ни один, ни другой не должны, не имеют права трогать прошлое, если оно не только их.

Человек не властен над чужим прошлым, говорил Кочин, то есть даже если он эту власть и имеет, он не может, не должен ее использовать. Нельзя убивать прошлое, общее с другими людьми, нельзя так расчищать место для новой правды. И еще: Богом устроено, что добро, которое ты хочешь принести всем людям, не искупит зло, принесенное близким. Добро очень зависит от расстояния. Обращенное на людей, которых ты любишь, оно всегда больше, чем розданное, распределенное среди всех. Если ты ради всеобщего блага причинишь боль близким, зло будет больше, и от этого никуда не деться.

Конечно, трудно примириться с тем, говорил Кочин, что надо уходить, что все, что ты понял, – только для тебя, что даже люди, ближе которых у тебя никого нет, люди, с которыми ты прожил целую жизнь, которых любил, которые рожали тебе детей, не хотят с тобой разделить радость, что они заталкивают ее в тебя обратно, затыкают уши, только бы не слышать о том, что тебе представляется самым чистым и прекрасным и самым открытым для всех, что ты мечтаешь всем и без остатка отдать, зная, что дар твой, сколько ни раздавай, – не оскудеет, зная, что это те хлебы, которые, сколько ни отламывай от них, не оскудеют, – а близкие кусок за куском заталкивают их в тебя обратно и не хотят ничего понимать. Отсюда и начинается практическое осуществление идеи. Почему они отказываются от того, что так прекрасно, почему не хотят принимать, почему не меняют зло на добро, не дети ли они неразумные и не твой ли долг – долг отца и учителя – взять их за руку и вывести на правильную дорогу?

Нет ничего опаснее учительства, говорил Кочин, отец не отвечает за сына, сын – за отца, но учитель отвечает за учеников. Откажись от учительства: неправда, что грех – если ты знаешь нечто хорошее, а не научил, не передал. Если ты учитель, тебе нужна власть.

Власть многократно усиливает действенность твоих уроков, и ты должен хотеть, чтобы ее было больше и больше, ты должен любить и хотеть ею пользоваться.

Страшное дело – отказ от прошлого, на всей или почти всей жизни ставится крест; то, что было в ней, объявляется злом, неправдой и отсекается, все рвется по живому, и выйти из этого здоровым невозможно. Восторг обретенной правды хоть и может подавить, дать забыть прошлое, но сзади – пустота, провал. И еще: в таком рождении не из материнской утробы, а из идеи – все искусственное и ненатуральное, и мир, который создают люди, переписавшие свою жизнь, сумевшие в середине пути подвести ей итог, вынести приговор, сумевшие очиститься и родиться снова, – столь же искусственный. Конечно, он отлично приспособлен к переделкам, его просто конструировать, он мобилен, но другие люди – люди, не умеющие легко отказаться от того, что было раньше, – в него никак не вписываются; он быстр, и они не успевают за ним.

Толстой, говорил Кочин, был очень хороший человек: он боролся против смертной казни, мечтал о нравственном самосовершенствовании, о том, чтобы здесь, на земле, все было так, как хотел Христос. Но чтобы это осуществилось, он готов был отказаться от своего, и не только от своего прошлого, и тем, кто был к нему ближе, тем, кто любил его, он поломал жизнь.

Я и сам знал, что многие годы семья Толстого жила очень тяжело, что начиная с восьмидесятых годов жена и он расходились все дальше, и вместе с женой от него уходили дети, кроме разве одной дочери, а место их занимали ученики. Я знал, что он долго искал примирения с семьей и, когда оно оказалось невозможным, когда все, что он делал и говорил, только разводило их дальше и дальше, ушел из Ясной Поляны и через десять дней после ухода умер на железнодорожной станции Астапово, в доме начальника станции, который подобрал его на перроне.

Отец Кочина 1901—1907 годы прожил в Канаде – то как корреспондент газеты «Либерасьон», то как простой фабричный рабочий. Для газеты он много писал об устройстве в Канаде уехавших из России духоборов, посылал свои статьи в Ясную Поляну, даже получил от Толстого короткую записку с благодарностью и потом несколько лет регулярно переписывался с Чертковым. В те годы он уже был социал-демократом и среди них тоже принадлежал к крайне левым, почему и примкнул потом, после семнадцатого года, к коммунистам. Но взгляды его скорее напоминали взгляды Богданова, а не Ленина; во всяком случае, он был убежден, что марксизм – религия, а Христа почитал как предшественника Маркса.

Через отца Кочин и стал интересоваться Толстым. Отец боготворил Толстого и всецело был на стороне его учеников; Кочин же считал, что Толстой был фактически похищен из семьи и из Ясной Поляны, что похищение это растянулось почти на тридцать лет и только в последние дни его жизни, неправдоподобно ускорившись, убило Толстого. Обычно ученики похищают учителя после его смерти – здесь они похитили Толстого еще живым. Он умер из-за них, но бежал он к ним, и правыми в итоге оказались именно они. Толстой, как и многие другие учителя, жертва своих учеников, но породил их он сам.

Чтобы доказать это, Кочин даже сделал из дневниковых записей и писем схему семейной жизни Толстых. Первые семнадцать лет брака Льва Николаевича Толстого и Софьи Андреевны Берс были, писал он, счастливыми, почти идеальными. Они любили друг друга, пожалуй, даже были влюблены друг в друга, и найти, что разделяло их, очень трудно: кажется, ничего. Еще холостым Толстой мечтал о жене-матери, а не о жене-любовнице, и та, на которой он женился, почти каждый год рожала ему детей и сама выкармливала их. Но после десятых родов она стала бояться новых беременностей. Разрыв супругов к тому времени зашел уже далеко.

Отношения начали ломаться еще в семьдесят девятом году. В письме Страхову он говорил: «Для моего дела смерть моя будет полезна». Тогда же Софья Андреевна пишет о нем

Т. А. Кузминской: «Левочка вдаль в свою работу, в посещение острогов, судов мировых, судов волостных, рекрутских приемов, в крайнее соболезнование всему народу и всем угнетенным. Это так несомненно хорошо, велико и высоко, что только больше чувствуешь свое ничтожество и свою гадость» (1880 г.). В восемьдесят четвертом году она пишет сестре: «Вчера Сергей Николаевич вернулся из Тулы и видел Левочку в Ясной Поляне. Сидит в блузе, в грязных шерстяных чулках, растрепанный и невеселый, с Митрофаном шьет башмаки Агафье Михайловне... Мне подобное юродство и такое равнодушное отношение к семье до того противно, что я ему теперь и писать не буду. Народив кучу детей, он не умеет найти в семье ни дела, ни радостей, ни просто обязанностей, и у меня все больше и больше к нему чувствуется презрения и холодности. Мы совсем не ссоримся, ты не думай, я даже ему не скажу этого. Но мне так стало трудно с большими мальчиками, с огромной семьей и с беременностью, что я с какой-то жадностью жду, не заболею ли я, не разобьют ли меня лошади, – только бы как-нибудь отдохнуть и выскочить из этой жизни». В том же году он пишет в дневнике: «Сожитие с чужой по духу женщиной, – т. е. с ней, – ужасно гадко».

Отношения Толстого и Берс еще нередко и надолго налаживаются, но потом они окончательно расходятся. В конце восьмидесятых годов Толстой не просто рвет их – он отрекается и от общего прошлого с женой. Прежде он всю жизнь считал, и это было для нее самым важным (письмо Черткову, 1888 г.), что «деторождение в браке не есть блуд... Это не грех, а воля Божия... Недаром Христос хвалил детей, говорил, что их царство небесное... Только на них вся надежда. Мы уже изгажены, и трудно нам очиститься, а вот с каждым поколением в каждой семье – новые невинные чистые души, которые могут остаться такими». Теперь он стал говорить ей, что брак не есть одна из форм служения Богу. Брак всегда падение, удаление от Бога. Об этом и «Крейцера соната», «Дьявол» и написанные позже «Отец Сергей» и «Воскресение». Она пишет: «И вот я переписываю статью Левочки „О жизни и смерти“, и он указывает совсем на иное благо. Когда я была молода, очень молода, еще до замужества, я помню, что я стремилась всей душой к тому благу самоотречения полнейшего и жизни для других, стремилась даже к аскетизму. Но судьба послала мне семью, я жила для нее, и вдруг теперь я должна признаться, что это было что-то не то, что это не была жизнь. Додумаюсь ли я когда до этого?» (Дневник, 1887 г.)

Она пишет: «И если спасение человека, спасение его духовной жизни состоит в том, чтобы убить жизнь ближнего, то Левочка спасся. Но не погибель ли это двум?» (Дневник, 1890 г.) Возможно, говорил Кочин, Толстой ждал, что его дети будут и его учениками, что жена родит ему учеников, которые пойдут за ним. Но она не умела рожать учеников, умела только детей, и тогда он сам ушел из семьи, ушел к ученикам.

Но сильнее всего Толстой прошелся не по жене, а по старшему сыну Льву Львовичу Толстому. Они были необычайно, буквально как две капли воды похожи друг на друга. Когда отец начал отходить от семьи, сын стал бороться с ним: сходство заставляло его быть равным. Одно время он даже писал на темы поздних романов Толстого небесталанные контрроманы, но затем сломался, заболел нервным расстройством и уехал из России. Можно только пожалеть, что он не сошел с ума и до конца своих дней знал, что он Лев Львович, а не Лев Николаевич Толстой. Оказавшись впоследствии в Америке, бедствуя там – это было уже после семнадцатого года – Лев Львович в Голливуде стал сниматься в кино в роли отца и, неплохо рисуя (в юности он несколько лет учился в Париже), с себя рисовать его портреты. Вряд ли есть другие примеры столь полной капитуляции.

В том, что говорил Кочин, конечно, много правды, и я недаром его здесь цитирую, но история взаимоотношений Льва Николаевича и Льва Львовича еще печальнее, чем ему представлялось. Дело в том, что старший сын Толстого, тоже названный Львом, был на самом деле или самим Толстым, или его братом. Тут не может быть никаких сомнений. Домашний врач Толстых Глюк говорил коллегам, что уверен, что сын Лев однойцовый близнец Льва

Николаевича. По неизвестным причинам его развитие задержалось, и сформировался он уже в утробе жены Толстого Софьи Андреевны Берс.

Глюк говорил, что любовь Берс к Толстому его всегда поражала, это была классическая любовь матери к сыну, и то, что Берс фактически родила Толстому его самого, выносила такого же Льва, как и мать Льва Николаевича, все превосходно объясняет. Конечно, о подобном продолжении себя любой человек, особенно человек, отчаянно, как Лев Николаевич, боявшийся смерти, может только мечтать – ведь ему было дано то, что редко кому давалось: продлить свою жизнь еще на целую человеческую жизнь, видеть, как ты сам растешь и развиваешься, как делаешься таким, какой ты есть; оставаясь самим собой, видеть себя со стороны, знать, что это ты и вот какой ты на самом деле. Льву Николаевичу было дано воскреснуть, не умирая; ему две жизни были дарованы, и обе очень длинные, но он не оценил дара.

И вот, когда Лев Львович стал подрастать и для всех сделалось очевидно, что это Лев Николаевич и есть, Толстой стал доказывать, что нет, не он, а просто его и Берс сын; конечно, в нем, как в каждом ребенке, что-то есть от отца, но не более того. В старшем Толстом уже накопилось много эгоизма, он как бы чувствовал себя завершением цепи: до него все поднималось, а он – вершина и дальше идти в их роду некуда, он – конец, а пытаться продолжать его – профанация. Толстой только один и может быть.

Вообще, не стоит думать, что подобные случаи с близнецами – такая уж редкость, недавно, например, в Китае у человека, жаловавшегося на постоянные боли в желудке, удалили во время операции часть челюсти, ребро и пучок волос его брата-близнеца, съеденного им еще в утробе матери; похожая история была в прошлом году в Индии, где врачи из живота больного извлекли даже мягкие ткани и, кроме того, совершенно целую затылочную кость.

Истории болезни китайца и индуса сильно взволновали толстовцев, особенно Морозова, и они, перебивая друг друга, стали обсуждать конфликты и соперничество между братьями, которые начинаются еще в утробе и проходят столь же жестоко и кроваво, как между Каином и Авелем. Остальных оба случая каннибализма тоже потрясли, и в палате сошлись, что, узнав, что ты съел родного брата, жить дальше невозможно, иначе нравственности не существует вовсе. Второй толстовец, Сабуров, забыв, что речь идет о его учителе Толстом, сказал: «Какова все-таки человеческая психика, как все-таки человек умеет хорошо забывать то, что ему не нужно: что бы ни было, ты по-прежнему чист и непорочен! Ведь эти люди, наверное, даже не знают за собой вины, не испытывают никакого раскаянья, словно поедали не они – как же все гадко и мерзко!» Но были и те, кто Сабурова не поддержал.

Больной Рогов сказал, что, возможно, это было ритуальным убийством: убивший и съевший своего брата-врага, по поверью, наследовал его силу и ум; не исключен и иной вариант. Толстой голодал или, вернее, оба они голодали и поняли, что выжить из них может лишь один, и тогда был брошен жребий. То была страшная трагедия для обоих, но кому повезло, поклялся брату, что проживет жизнь за них двоих. Они обнялись и поцеловались. Так что об омерзении речь не идет – напротив, перед нами пример высшей нравственности, пример героизма и самопожертвования, и только время показало, достоин ли был дара выживший.

«На подобных примерах, – добавил кто-то, – мы должны учить наших детей, а не отбрасывать как нечто постыдное. Кроме всего прочего, – сказал тот же человек, – у нас, в сущности, вообще нет оснований обвинять Толстого в убийстве; он ведь своего брата не съедал, а просто задержал его развитие. Меня гораздо больше печалит поведение Льва Николаевича, когда брат наконец родился. Зачем было объяснять Льву Львовичу, что он не Лев Николаевич, – это как мать, мечтающая о сыне, родив девочку, воспитывает ее, будто мальчика; в итоге дочь вырастает с мужскими манерами, ухватками и потом несчастна всю жизнь или даже кончает с собой, потому что не может вынести раздвоения.

Лев Николаевич думал, что, воспитывая сына не так, как воспитывали его самого, делает из него другого человека. Толстой вообще считал, что среда играет куда большую роль, чем наследственность. Чтобы отвести Льва Львовича от литературы, он посылает его во Францию учиться ваянию. И после возвращения сына в Россию, хотя уже было ясно, что скульптора из него не выйдет, Толстой при каждом удобном случае объяснял Льву Львовичу, что писателя формирует жизнь; так, его, Толстого, сделала писателем война и пребывание в Севастополе. Кроме того, прозаику необходимо внутреннее спокойствие, которого у Льва Львовича нет: он нервен, неровен и писать по-настоящему, как пишет сам Лев Николаевич, никогда не сможет».

Особые споры вызвали у нас контрроманы младшего Толстого. Морозов считал, что у Льва Львовича просто не могло быть отличных от отца сюжетов и он, давая своим героям иную – иногда решительно иную – трактовку, пытался, как и хотел отец, отделиться от него. Резко, для всех явно продемонстрировать, что он другой. То есть он принял правила, навязанные старшим Толстым, и вел себя как его сын. Но Толстой не оценил, не захотел это понять, принял за издевательство.

Однако я с этим морозовским толкованием не согласен: известно, что, в отличие от самого Льва Николаевича, Лев Львович и на йоту не отступал от линии раннего Толстого. Так вот, я думаю, что именно старший Толстой сознательно перестал быть прежним, искусственно себя переделал. Однажды он понял, что перед братом-сыном неправ и, отойдя в сторону, оставил ему продолжать себя. С этого времени истинным Толстым стал Лев Львович, его и следует нам изучать.

Впрочем, нелады между братьями продолжались. В конце концов теперь истинный Толстой – Лев Львович – уехал в Швецию, где у известного врача Эрнста Теодора Вестерлунда долго лечился от неврозов, а старший Толстой бежал из Ясной Поляны – общее бегство от себя. После смерти Льва Николаевича Толстого и особенно после революции все постепенно приходит в норму. Как и должно, Льва Николаевича играет в голливудских фильмах Лев Львович, и он же в минуту острого безденежья, глядясь в зеркало, рисует автопортреты великого Толстого.

И последнее: возможно, большевики решились на коллективизацию, глядя на такие процветающие, такие изобильные толстовские коммуны.

\* \* \*

Четвертый, кого я хочу помянуть, – это уже названный выше Семен Евгеньевич Кочин, наш сосед по коммуналке в доме на улице «Правды», где я с родителями прожил до своих пятнадцати лет. Потом мы получили отдельную квартиру совсем в другом районе, на Ленинском проспекте, и я после переезда видел Кочина лишь дважды, второй раз чуть больше года назад, за месяц до его смерти. Так что можно считать, что я с ним попрощался. И при мне, и позже Кочин жил со своей сестрой, тихой старой девой, относящейся к брату как к ребенку, – к нему вообще все относились как к ребенку, я, например, с детства был уверен, что он мне ровня.

Комната Кочиных в квартире была самой большой, но предельно странной формы. Та ее сторона, где находилось окно – оно выходило на юг, – была совсем узкой, собственно говоря, там только окно и умещалось, однако дальше комната, которую Кочин предпочитал именовать «зрительным залом», расширялась, образуя трапецию. Из тех же соображений его кровать (вставал он с нее нечасто) звалась «королевской ложей», а старые льняные занавески – «театральным занавесом». Следуя кочинской логике, все, что было за окном, следовало называть сценой, точнее, даже сценой жизни, но для него вряд ли это было так: жизнь за окном интересовала его мало; пожалуй, после освобождения из лагеря он никогда не стре-

мился выйти из своей комнаты, заглянуть за стекло, которым комната кончалась. Он вообще ценил завершенность и границы, мир его был плоским, как экран кино, он намеренно отказался от глубины сцены ради четкости и ясности изображения или потому, что не мог совладать с масштабом. Однажды он говорил мне, что в юности учился на художника, считался довольно талантливым колористом, но никак не мог научиться перспективе – этому сознательному искажению размеров ради достижения истины.

День свой Кочин начинал с того, что искал в неровностях занавесочной ткани человеческие лица; если они были добрые, он немедленно приходил в хорошее настроение, вставал и до вечера был улыбочив и весел; плохие лица, наоборот, вгоняли его в тоску, часами он совершенно неподвижно лежал в постели и смотрелся тяжело больным. Все это было достаточно серьезно, и когда-то давно, еще до моего рождения, сестра пыталась его лечить, клала в больницы, водила к хорошим врачам, но дело оказалось безнадежным, и в конце концов его оставили в покое. Впрочем, некоторая польза от хождений была: он был признан инвалидом и стал получать микроскопическую пенсию.

Лет с пяти, после смерти бабушки, я бывал у Кочиных по многу раз в день, иногда болтался у них часами; квартира наша утром и уже до вечера, когда люди возвращались с работы, вымирала, один я оставаться не любил и шел к Кочину – в единственную комнату, где всегда кто-то был. Естественно, что скоро он и меня пристрастил к своему занятию: каждый из нас хвастался найденными лицами, но потом сам Кочин это пресек. Дело в том, что нередко, когда ему попадались хорошие лица, я отыскивал злые, он сразу мрачнел, снова ложился в постель, и сестра меня выгоняла. Пожалуй, Кочин был первым человеком в моей жизни, который относился ко всему серьезнее, чем я; довольно скоро я научился жалеть его и обманывать.

Свой хороший день Кочин начинал с того, что расшторивал окно; занавес, закрывающий сцену, убирался, но света в комнате не прибавлялось. Дело в том, что все стекло, насколько я сейчас помню, кроме форточки, было заклеено тонкими – на каждой помещалось лишь несколько строк текста – полосами исписанной бумаги. Из-за них в комнате даже в солнечный день был полумрак и горела электрическая лампочка. Мне это нравилось: я люблю электрический свет. По словам Кочина, вместе полосы составляют автобиографический роман, который в силу бедности его жизни событиями и, соответственно, причинно-следственными связями состоит исключительно из отдельных мыслей и зарисовок. Мысли же приходят в голову вне системы и логики, во всяком случае по внешности; найти их каждый раз заново – и есть его ежедневная работа писателя. Логика, конечно же, наличествует, потому что мысли рождены им, но она внутри, а кроме того, непостоянна, текуча и изменчива.

На практике его представление о писательском труде воплощалось следующим образом. В день, когда не было депрессии, Кочин все утро рисовал подробную схему развития романа: то есть как, в какой последовательности читать сегодня наклеенные на окне строчки; делалось это обычно красным карандашом и очень напоминало карту кровообращения. Очевидно, такая ассоциация устраивала Кочина, потому что сам он любил повторять, что роман – живое существо, которое, как человек, живет и дышит, растет и развивается. Потом, когда схема бывала закончена и к нему кто-нибудь приходил, он ловко взбирался на прислоненный к подоконнику стол и, ходя по нему, приседая, вставая на цыпочки, садясь, читал в соответствии с планом написанное. Зрелище было занятное до крайности. Слушатель Кочину был необходим, ему обязательно нужно было видеть чьи-то глаза, и он, хотя читал быстро и без запинки, успевал все время оглядываться; к счастью, он был неизбалован, готов читать любому, может быть, кроме сестры, во всяком случае, я – пяти-шестилетний ребенок – его вполне устраивал.

Зачем он наклеивает то, что пишет, на окно, Кочин объяснял неоднократно, но каждый раз иначе; впрочем, ни один из его ответов другому не противоречил. Началось это, кажется, во время войны, когда стекла, чтобы они при бомбежке не вылетели, заклеивали крест-накрест бумажными лентами. Кочин тогда разрешил сестре изрезать несколько страниц романа и стал утверждать, что его писания не дают миру разрушиться и распасться на части.

Еще он говорил, что так теплее, его роман греет их с сестрой и не дает замерзнуть; что роман должен прокалиться на солнце; что он должен быть прозрачен и, раз в комнате все время горит электричество, до конца работы еще далеко. Говорил он и то, что не может держать его в столе – живое нельзя лишать света, что вообще роман, как растение, живет за счет фотосинтеза. Что на самом деле представляло собой написанное Кочиним, ребенком я, конечно, судить не мог, хотя после первого прочитанного мной романа – диккенсовского «Оливера Твиста» – подозревал, что одно и другое не стоит сравнивать. Но я был привязан к Семену Евгеньевичу, пожалуй, можно сказать, что любил его и никогда не выражал сомнений.

И все-таки, что это было, я сейчас знаю. В мое последнее посещение Кочина – я поехал к нему вслед за звонком сестры, сказавшей, что он неизлечимо болен и было бы хорошо, если бы я с ним попрощался, – он действительно уже не вставал, но был весел и определенно мне рад; не успел я поздороваться и раздеться, Кочин вручил мне новую, кажется, только что законченную схему и погнал на стол читать. Дело было нелегкое. Его мысль была зашифрована в стрелках и цифрах и, чтобы уследить за ее ходом, требовались весьма замысловатые телодвижения; впрочем, он мне все время помогал, интенсивно жестикуюлируя и давая указания: вверх-вниз, налево-направо, в угол и т. д. Хуже было другое: многие листки выцвели, почти везде они были наклеены в два-три слоя, буквы просвечивали друг через друга, строчки налагались, и я ежеминутно путался. Тем не менее с заданием я справился, прочитал кусок, который он хотел, а потом даже попросил разрешения переписать, чем он был очень польщен. Таким образом, часть того, что он делал, у меня есть; конечно, это никакой не роман, думаю, его записи вернее назвать циклом стихотворений в прозе или, может быть, цепочкой совсем уж микроскопических рассказов. Скорее все же стихами.

«Я шел в деревню. Чтобы попасть в деревню, мне надо было перейти три ручья. Я перешел первый, перешел второй, вошел в третий. Когда я вошел в третий ручей, я услышал шум. Это вода билась о мои ноги. Я решил посмотреть, как вода бьется о мои ноги. Она билась красиво. Я никуда не спешил и решил посмотреть еще. С тех пор прошло семьдесят два года. Значит, это было до революции.

Один человек думал, что моя жизнь – чашка. Случайно он уронил чашку и разбил мою жизнь. Он разбил мою жизнь, извинился и ушел. Всю ночь жена собирала осколки. Она собирала и клеила их. Утром она спрятала чашку в безопасное место. Потом она ушла к этому человеку. Как у солдата, у меня перед дождем болят старые раны.

Болото высохло, и мох стал похож на овец. Много людей видели мох, и все говорили, что это овцы. Овцы дают шерсть, дают кожи, дают мясо. Все это овцы дают. Все это овцы дают нам. А что они оставляют себе? О себе они забывают. Они альтруисты. Они хорошие. Если мох стал овцами, это хорошо. Ура! Я трудоустроен. Мне сделали шалаш и велели сторожить овец. До зимы перекантуюсь.

Напротив окон моей комнаты крыша девятиэтажного дома. С некоторых пор эта крыша – бойкое место. По ней все время ходят люди. Одни люди идут по делам, другие просто

гуляют. Мои симпатии целиком на стороне первых. Люди, которые идут по делам, всегда идут прямо. Когда они доходят до края крыши, они прыгают. В их прыжках есть сила, напор, расчет, стремительность и деловитость. Те, кто просто гуляет, дойдя до края, поворачивают обратно. Или садятся на раскладные стулья и смотрят вниз. Я часто думаю, есть ли между теми людьми и этими хоть что-то общее. Жена говорит, что есть. Жена говорит, что их легко можно скрестить. Она говорит, что не пройдет и года, как на крыше будет полным-полно маленьких мулов. Если это так, значит, она выиграла у меня шоколадку.

Днем и вечером снег таял. Под утро он замерз. Стало скользко. Люди стали ходить, как канатоходцы. Они стали держаться за воздух, как старики. Они стали падать, как дети. Они стали мягче.

Когда Христос ходил по воде, оставил ли Он следы? Если нет, значит, оставить следы на земле легче, чем на воде. Если нет, значит, земля и вода – не одно и то же. Значит, Господь действительно разделил их.

В аллее деревья стоят в ряд. Они построены, как солдаты. Аллея – это регулярный лес. Растить аллею долго и трудно. Но есть новаторский способ. Солдат надо зарыть в землю. Каждый день их надо поливать. Тогда весной они прорастут и пустят побеги.

Сегодня я написал руководство для птиц. Взрослая птица, которая хочет стать птенцом, должна уменьшиться в росте. У нее должен измениться взгляд на жизнь. Птица, которая хочет родиться заново, должна оставить эту мысль.

Я стою на высоком месте. Здесь опасно. Дальше глубокий провал. Я смотрю вниз. У меня кружится голова. Но я все равно смотрю. Внизу растут деревья. Я стою над ними. Я – птица, которая летает стоя. Ниже деревьев болото. Преисподнюю залила вода.

Человек рухнул как подкошенный. Он понял, что он трава. Он понял, что вокруг луг. Он понял, что уже время. Время сенокоса.

Птица села на ветку, ветка качнулась. Птица слетела с ветки, ветка качнулась. Думаю, что это уже не первый раз. Думаю, что все уже было.

Глубокое лесное озеро. Дно завалено упавшими деревьями. Среди веток медленно ходят рыбы. Между собой деревья зовут их птицами.

Всю зиму я ухаживал за снежной бабой. Я полюбил ее. Мне нравилось, что у нее простое лицо. Мне нравилось, что у нее большой живот. Я вообще не люблю воздушных барышень. В марте она наконец согласилась стать моей. Мне было с ней хорошо. Мне нравилось, что она ревнует меня к другим снежным бабам. Когда стало тепло, я увез ее на север. Моя любовь спасла ей жизнь. Зимой мы снова вернемся назад.

Я долго-долго болел. Я уже свыкся со своей болезнью, привык к ней. Она стала моей частью. Старел я, и старела моя болезнь. И все-таки она умерла раньше меня. Я похоронил ее в себе.

1936 год. Москва. В окне первого этажа стоит голая женщина. Она красива. Она хорошая мать. Она ждет меня. Она ждет каждого, кто видит ее в окне. Каждый может вложить

в нее то, что имеет. В любой момент то, что вложил, он может взять обратно. Все будет возвращено ему в целостности и сохранности. Плюс проценты.

„Как же зовут эту женщину?“ – спросил учитель.

„Сберкасса“, – крикнул я с места.

„Лед, – сказал учитель, – это организованная вода. Это вода, у которой устойчивый быт. Лед хороший производственник и надежный товарищ“.

„А река, – сказал я, – как же река?“ „Река, – сказал учитель, – тоже хороший производственник, если она течет сверху вниз“.

Пустыня. Желто-серый такыр. Покров земли пошел трещинами и распался на части. Трещины глубокие. Уже ничего не склеить. Ветер пересыпает песок. От подножья бархана вверх, полого и медленно. Власть должна быть воспитана. Потом круто вниз. Всякий, достигший власти, достоин забвения. Если хочешь сделать революцию, так и делай ее. Пересыпать песок – славное занятие. Им можно заниматься всю жизнь».

Напоследок, когда я уже был в дверях, Кочин сказал мне: «Толстой предвидел, что из его учения может произойти зло. Он говорил Софье Андреевне, что ученики – те же дети, только ущербные, воспитанные без материнского тепла. Много раз он просил, уговаривал жену, чтобы она обращалась с ними как с их общими детьми, вернее, еще лучше, еще внимательнее, как относятся к больным детям, сиротам. Был и еще один способ избежать зла: Софья Андреевна должна была согласиться кормить учеников Толстого, как собственных детей, грудью. Толстой, плача, молил ее об этом, но она, по словам Черткова, на все его стенания холодно отвечала, что на всех молока у нее не хватит, а потом на зло ему даже перевязала груди бинтами, так что их последнего ребенка тоже выкармливала не она, а кормилица. Тогда у них все и порвалось, а через несколько лет он, чтобы ученики не чувствовали, что никому не нужны, совсем ушел к ним».

\* \* \*

Все-таки доктора Кронфельда я дождался. Он вышел ко мне сам, отвел в кабинет и там, выслушав, сказал, чтобы к следующей неделе я уладил неотложные дела, – в понедельник в отделении освобождается место, и он готов меня положить. В больнице мне придется пробыть долго, не меньше полугода, потому что курс при тех дозах, которые я буду получать, очень растянут. Может взять он меня к себе и в другое время, правда, койки, выделенные для испытания препарата, у него появляются нечасто, и ждать, скорее всего, придется месяцы. Если же понедельник мне подходит, то накануне, в воскресенье, я должен позвонить по телефону, который он сейчас даст.

Пять дней, оставленные на раздумье, я провел спокойно. В сущности, страхи были сбиты его бодрым тоном, даже срок, который придется провести в больнице, не особенно пугал. Наверное, он был хороший врач, потому что при всей моей мнительности ни разу за разговор его честность не вызвала у меня сомнений. В общем-то, он меня и не обманул. В воскресенье, как и было договорено, я позвонил, подтвердил, что ложусь, а в понедельник – это было десятое число – мама и тетка проводили меня до приемного покоя. Здесь я переоделся в казенную пижаму, после чего они сдали меня с рук на руки медсестре и, поцеловав, ушли. Мама плакала, но больше для порядка, она была измучена ожиданием моих припадков, тем, что никуда не может отпустить одного, – теперь больница соглашалась дать ей отдых, передышку, и даже была надежда, что меня подлечат. Конечно, маме хотелось в это

верить. Во всяком случае, ей твердо обещали, что хуже не будет, и в больнице она оставляла меня со спокойной душой.

Корпус, в котором был приемный покой, находился почти у самой Яузы, на задах того двенадцатиэтажного здания, где был кабинет Кронфельда. Приемное отделение помещалось в старом, возведенном еще до революции доме. Проектировали его, похоже, как загородный особняк, но на середине работ решили переделать под клинику и к центральной, очень изящной части добавили с двух сторон непропорционально длинные, а главное, высокие флигели, после чего все сооружение сразу стало напоминать казарму. Позднее многочисленные, как они у нас называются, косметические ремонты окончательно подравняли здание. Орнаменты, звериные морды, другая лепнина или обвалилась, или была отбита; даже колонны, раньше выступающие из стены полукругом, постепенно были замазаны штукатуркой и теперь выделялись лишь цветом. Корпус был историческим:

с него, построенного иждивением какого-то купца-золотопромышленника лично для Корсакова, и началась больница.

Между собой двенадцатиэтажный корпус и приемный покой были соединены, как пуповиной, подземным тоннелем, и я был уверен, что сестра, оформив бумаги, отведет меня на уже знакомый шестой этаж, но оказалось, что Кронфельд поистине вездесущ и возглавляет в больнице не одно, а целых два отделения; нужное нам как раз находится здесь. Про Кронфельда сестра рассказывала мило и весело, а потом без всякого перехода принялась жалеть, какой я молодой. Делала она это быстро, почти скороговоркой, и странно похоже на то, как в церквах, молясь, причитают старухи. Наконец она кончила и писать, и сострадать, спокойно взяла меня за руку и повела в палату. С койкой, объясняла она, пока мы шли, мне очень повезло: она у окна, а окно выходит в парк, место самое что ни на есть почетное, по справедливости положено оно старожилу, но отделение у них особенное, и ей жалко, что я чуть не мальчик, а уже пациент Кронфельда, поэтому она отдает его мне.

Так я стал законным обитателем здешнего мира. Теперь мне надо было его обживать. Я думал, что больничная жизнь дастся мне проще, но привыкал медленно и тяжело. По всем статьям я был привилегированным пациентом: попал сюда по благу, главное же – состояние мое было легче, чем у других, но все это оказалось слабым утешением. Скорее, наоборот. Дело в том, что я был едва ли не единственным из местных постояльцев, кто вообще ощущал себя больным; правилом, нормой тут было чувствовать боль, а не болезнь; боль приходила, и тогда ты мучился и страдал, но потом, когда она слабела, кончалась, ты забывал о ней, забывал так, словно ее и вовсе не было. Я же забвения был лишен. Я всегда был со своей болезнью, всегда думал о ней, всегда следил за ее динамикой и изменениями, следил, как действуют препараты, что я принимал, насколько мне лучше или, наоборот, хуже.

С моей, да и с любой другой точки зрения, мои сопалатники жили страшной жизнью, и я бы ни за что не согласился с ними поменяться, однако и мне было трудно. Наверное, особенно трудно потому, что рядом не было никого, кто был бы в равном со мной положении, кто мог бы меня понять, я был отгорожен от всех высоким забором и предоставлен себе.

В сущности, быть пациентом отделения старческого склероза, или, как их для благозвучия теперь именуют, отделения геронтологии, нелегко для любого человека – все равно, чем и в какой степени он болен. В любой психиатрической клинике оно считается тяжелым, и в первую очередь из-за абсолютной безнадежности, которой заражены все – и больные, и врачи, и медсестры. Сделать ничего нельзя, невозможно навести даже относительный порядок, больные ходят под себя, а белье, хотя наше отделение считалось привилегированным, им меняли не чаще чем через день, в других больницах и того реже – раз в неделю. По этой причине все и навсегда пропахло скисшей мочой да еще, как в обычной больнице, прогорклым маслом из кухни и рассыпанной в уборной хлоркой. Из-за сырых простыней и грязи у многих больных были язвы, пролежни, правда, с ними, поскольку они на виду, пытались

бороться – перевязки делались регулярно, врачи за этим следили, и тогда вдобавок к другим запахам в отделении остро пахло мазями и спиртом.

Корпус был для бывшего начальства, но не весь – только центральная часть здания и левый флигель. В правой части уже при мне стали делать ремонт, ее собирались от нас отгородить и передать скорой помощи – под тех, кого, как и меня, подбирали на улице. Продлится переделка должна была год, если не два, но, очевидно, решение передать флигель «Скорой» «наверху» уже было утверждено и, соответственно, прежние койки у нас отняты, так что машины одновременно с началом ремонта стали возить сюда больных; клали их в палаты, где строители еще не работали, а потом через несколько дней скандалов и ругани переводили в другие клиники. Бред со скорой был связан не только с обычным нашим бардаком, но и с давней, чуть ли не двойной нехваткой коек в психиатрии. Те, что были, бронировались за острыми больными, а на остальных денег никто давать не хотел.

Что люди, лежащие в нашей части корпуса, не простые, легко было догадаться по разговорам, которые они вели сами с собой, но и так Кронфельд во время одного из обходов сказал мне, что чуть ли не все, кто здесь обитает, или старые большевики, или в прошлом большие начальники, так что он, бывая тут, чувствует себя генсеком. От него же я узнал, что попасть сюда считается достойным завершением карьеры. В сущности, понять это можно. Жить в одной квартире со впавшим в маразм стариком до крайности трудно. Ему нужна отдельная комната, постоянный уход, кто-то все время должен быть рядом, иначе в доме непролазная грязь, вонь, всегдашняя опасность, что будет не выключен газ, а квартира залита водой. Однако найти женщину, которая бы согласилась ухаживать за больным, непросто.

Есть еще дом для престарелых. Но и туда попасть сложно, очередь тянется несколько лет, бывает, что даже люди, у которых нет родных, умирают, не дождавшись места. Кроме того, не секрет, что жизнь в подобных заведениях ужасна и мало кто готов сдать туда мать или отца. Другое дело – больница, куда формально берут на время (если постараться, его можно тянуть и тянуть), а не навсегда, и где, по идее, лечат, а не содержат. Условия в отделениях геронтологии, как их ни ругай, несравнимы с тем, что творится в домах престарелых, так что они для всех – и для семьи, и для больного – лучшее, на что можно рассчитывать. Соответственно, чтобы сюда взяли, нужны немалые связи и немалые заслуги.

Правда, по словам Кронфельда, нынешний год переходный: в Москве стали строить сразу несколько интернатов для хроников – нечто среднее между больницей и приютом для стариков, через пару лет большинство здешних больных будут переведены туда. Если интернаты действительно построят, пациентов станет меньше и больница наконец сделается похожа на больницу. А сейчас, когда на две палаты одна санитарка, ждать, что тебе вовремя дадут утку, поменяют белье – наивные мечты, тем более что в их отделении денег, чтобы за это заплатить, ни у кого нет.

То, что говорил Кронфельд, было, конечно, правильно, и все же беда была не в одних трояках.

Некоторые санитарки, сами старухи, когда я ходил, чтобы позвать их к больному, – иначе было не докричаться, – по-книжному рассудительно и жестоко объясняли, что вообще незачем длить жизнь подобных ублюдков, зря тратить народные деньги. Для страны было бы лучше, если бы их усыпили, а персонал перевели в нормальные больницы, например в роддома, где тоже одна санитарка на две палаты и чистого белья надо не меньше, чем здесь. Я не раз слышал, как тому, кто звал их, спокойно объявлялось, что он не человек, в лучшем случае – животное, а обслуживать животных они, санитарки, не нанимались. Пожаловаться на них было некому, и они, чувствуя себя правыми, при удобном случае пытались сагитировать и врачей.

\* \* \*

Первые два месяца, что я провел в больнице, были, в сущности, предварительными. День за днем внутримышечно и внутривенно в меня вливали самые разные лекарства, по большей части стимуляторы внимания, памяти – вместе с витаминами они должны были подготовить организм для собственно лечения. То, что мне давали, на меня, несомненно, действовало: достаточно сказать, что никакие другие шестьдесят дней своей жизни я не помню с такой отчетливостью. Контраст особенно силен потому, что то, что было позднее, когда уже пошли инъекции кронфельдовского препарата, я помню совсем отрывочно и смутно. Особенно начальные недели. Тогда я практически круглые сутки спал, и лишь затем постепенно, по мере того, как мозг привыкал и приспособлялся к лекарству, во мне что-то стало оставаться. В контрасте с этим вводные два месяца больничной жизни по яркости, цвету не сравнимы ни с чем, я и сейчас не способен отойти, взглянуть со стороны на то, что было тогда; время ничего не излечило, я по-прежнему боюсь тех своих страхов, по-прежнему во мне живет та же вера, та же надежда, что ничего еще не решено, и вместе с тем я знаю, что мы обречены.

Поначалу я был никак не ограничен в режиме, чувствовал себя бодрым и молодым, в постели почти не лежал, во мне вообще было странное смешение почти забытого здоровья, телесной радости, – думаю, что по любым тестам я тогда помолодел лет на десять, – с унижением и страхом. И этот страх, хотя случались целые недели равновесия и покоя, никуда не уходил, рос и рос. Так что сон, длинный, почти непрерываемый сон от кронфельдовских инъекций я принял как спасение и потом, все боясь, что страх вернется, тянул его, сколько мог.

Благодаря избытку жизни, который в меня влили, я был весьма деятелен, на взгляд со стороны, наверное, и суетлив, во всяком случае, за предшествующие спячке месяцы успел не только перезнакомиться со всем отделением – там попадались странные люди, – но с некоторыми из обитателей даже сойтись. Это – что лиц десять из тех, кого я встретил в больнице, тут чужие, – долго не давало мне покоя, пока в конце концов, на исходе первого месяца я не решился спросить о них у Кронфельда. Многих к тому времени я знал по имени, например тех же толстовцев Морозова и Сабурова, Николая Семеновича Ифраимова, о котором скажу ниже; пожалуй, я мог считать себя принятым и в кружок, который они образовывали, однако отделение старческого склероза не место, жизнью в котором гордятся, и спрашивать их самих, как они сюда попали, казалось мне неприличным.

Кронфельд легко понял и мой интерес, и то, почему я обратился именно к нему; вполне любезно он ответил, что они не из числа его пациентов и знает он немного. По слухам, в двадцатые годы, а возможно, и позже, корпус принадлежал закрытому интернату, по-видимому, для детей высоких чиновников, наших и коминтерновских (так, во всяком случае, говорили ему нянечки, работавшие здесь лет двадцать). Когда ответработников посылали на какие-нибудь дальние и опасные задания, например за кордон или туда, где шла война, детей они оставляли здесь; вернувшись же, забирали обратно. Возможно, дети были и чем-то вроде заложников. В общем, сказал Кронфельд, если я хочу, он постарается выяснить все точнее – ему это тоже интересно.

Через день он снова зашел меня проведать, но ничего нового я не услышал, он только сказал, что некоторые из воспитанников неизвестно почему так и прожили в интернате всю жизнь: может быть, их родные погибли, может быть, изменили. Еще лет десять назад старожилы было человек тридцать, но теперь осталось лишь одиннадцать; моложе шестидесяти среди них нет никого, каждый год двое-трое умирают. Из-за чего они здесь, узнать тоже не у кого. В любом случае, для властей их судьба давно потеряла интерес.

Кажется, добавил он, во время войны об интернате просто забыли, потом вспомнили, спохватились (дело было при Хрущеве) и хотели закрыть. Решение даже было подписано. Однако никто из здешних выходить на волю не хотел – там их нигде и никто не ждал. Как ни странно, все это удалось объяснить, приказ был изменен, и их оставили.

Но чтобы не держать ради тридцати человек целый корпус, сюда стали класть и больных из соседних отделений, обычно выздоравливающих. Получилось нечто вроде реабилитационного центра. А дальше естественный процесс: одних становилось меньше и меньше, других – больше, в конце концов они перемешались; палат, во всяком случае у интернатских, отдельных нет, чересполосица полная. Впрочем, подвел он итог, они здесь патриархи, старжины. Их льготы и привилегии – табу, и все вплоть до нянечек с этим считаются.

Конечно, до полной ясности было далеко, но я вдруг образумился: общение с Морозовым, Сабуровым, другими было единственным светлым пятном в больничной жизни, я старался не пропускать ни одного из их семинаров, был благодарен, что они приняли меня, ни о чем не спрашивая, в то время как сам я с такой настойчивостью пытался выяснить их подноготную. Без сомнения, я был неправ. Если бы они хотели, чтобы я знал их историю, они бы нашли время мне ее рассказать.

Подобные соображения скоро переросли в самобичевание, в больнице я вообще все раздувал и преувеличивал. Потом я сообразил, что ничего нового Кронфельд мне не сказал, и обрадовался: намеренья мои были несправедны, но Господь не допустил греха. Однако любопытство в человеке неистребимо: дня через два, успокоив себя тем, что Ифраимов – один из них, значит, на сей раз все открыто и честно, с тем же вопросом я пошел уже к нему.

Ифраимов моему интересу не удивился. Никакой тайны, сказал он, здесь давно нет, но история, увы, не короткая – он поклонился, словно извиняясь. В нем вообще была склонность к рисовке. Сначала мы думали устроиться в холле, перед выключенным телевизором, но там уже кто-то сидел, и мы просто стали ходить из конца в конец коридора.

\* \* \*

«С двадцать второго года, – начал он, – по тридцать второй, то есть ровно десять лет, в этом особняке помещался Институт природной гениальности, сокращенно ИПГ, – контора в ту пору совершенно секретная; Совнарком, еще во главе с Лениным, подписавший постановление об организации института, возлагал на него исключительные надежды. Мы, то есть те десять человек, которые по заведенной привычке или по инерции проводят каждую неделю свои семинары, – последние воспитанники ИПГ, остальные или умерли, или погибли.

В тридцать втором году, как я уже сказал, институт был распущен опять же решением Совнаркома, правда, состав его тогда был уже совсем другой. Причиной ликвидации объявлялась его бесполезность; на самом деле беда была в другом. В тридцать втором году наш директор, милейший и умнейший профессор Христофор Иннокентьевич Трогау, к пятнадцатилетней годовщине революции подготовил и частично доложил профессуре ИПГ свой труд, этой революции посвященный. Вернее, его первую полутеоретическую главу.

Он использовал собственные, весьма необычные источники, и картина оказалась настолько несхожа с официальной, что вышел скандал. Рукопись конфисковали, Трогау посадили, довольно скоро он погиб, под нож пошло и большинство тех, кто его вживую слышал. Среди нас таких не осталось, например, ни одного. Но тридцать второй год – еще либеральное время, материалы, собранные Трогау, и после изъятия рукописи продолжали циркулировать по институту, и мы имели ясное представление о его работе, – сказал Ифраимов, – но об этом немного погодя.

Трогау не случайно стал директором ИПГ, гениальностью он занимался давно. В девяностые годы прошлого века возникла группа „Эвро“; в нее входили политики, философы,

много ученых, в основном биологов, были врачи-психиатры, несколько предпринимателей и инженеров – словом, состав весьма разнообразный и разношерстный, – они пришли к выводу, что в XX и XXI веках мощь государства будет определяться не его территорией и численностью граждан, а исключительно качеством этих граждан. Человеческий мозг они признали главным природным ресурсом, отдав ему предпочтение перед всем остальным – золотом, углем, нефтью, рудами и прочая, вместе взятым. Соответственно, задачу каждого из русских правительств они видели в его приумножении и обогащении.

Надо сказать, что и тут приоритет за Германией, где подобная группа появилась десятилетием раньше. Возглавляли ее выдающиеся психиатры Крепелин и Кречмер, однако здоровье нации было понято ими иначе, следовательно, и в этом вопросе Россия и Германия рано сделались антиподами; Германия считала здоровье вещью утилитарной и по сути чисто физической. Евгенисты, которые составляли в немецкой группе большинство, были убеждены, что главная проблема – огромное количество душевнобольных, умственно неполноценных и уродов, но в первую очередь именно душевнобольных, которые, воспроизводя себе подобных, разлагают нацию. Вывод отсюда был однозначен: в целях общего блага необходима и обязательна их насильственная стерилизация.

В России победил другой взгляд. Основан он был на целом ряде исследований. Так, среди прочего в последние десятилетия XIX века были изучены биографии всех гениальных русских людей и их ближайших кровных родственников; параллельно, как контрольная группа, изучались и особенности еврейского населения империи, в частности сочетание явной одаренности этого народа с не менее явной его неуравновешенностью. Результаты в обоих случаях были одинаковы. Оказалось, что гениальность неразрывно связана с той или иной формой психической патологии. В отличие от немцев, даже ради душевного здоровья нации русские не были готовы расстаться со своими гениями; наоборот, в России и правительство, и общество были согласны, что гении и есть соль земли; именно порождая гениев, народ оправдывает свое существование. Выводом стало не просто терпимое отношение к душевнобольным, но и начало анализа их идей, их бреда, прочих аномалий, дабы не был упущен ни один случай одаренности.

Хотя деятельность группы была засекречена, часть ее разработок все же выплыла на поверхность, но публика, как обычно и бывает, получила их в карикатурном виде. Некто Петр Ткачев, недолгое время работавший в „Эвро“ секретарем, опубликовал за своей подписью трактат, в котором доказывал, что историю творят не народные массы, а критически мыслящие личности, то есть гении, сумевшие непредвзято взглянуть на мир, увидеть его несовершенство, его ущербность и греховность и повести за собой миллионы людей, готовых разрушить устои до основания. Конечно, как вы понимаете, Алеша, гении случаются не только в политике – наоборот, в политике их на удивление мало; но русское общество в те годы было наивно; уверившись, что стоит свергнуть монархию, и все само собой наладится, оно встретило теорию Ткачева восторженно.

Поразительная сцепленность патологии и гениальности, – продолжал Ифраимов, – требовала объяснений, данной проблемой занимались довольно долго. Что же оказалось? Любое общество жестко организовано, чтобы новое поколение воспроизвело его без искажений, существуют тысячи запретов и табу, любой человек чуть ли не с пеленок знает, что можно, а что нельзя, что плохо, а что хорошо. Норма вложена во всех нас, не забыт ни один, с рождения до смерти мы живем под цензурой, от которой невозможно скрыть ничего, никакого наимельчайшего пустяка, потому что мы сами и есть эта цензура. И мы очень бдительны, Алеша.

Гении – страшные враги общества, они единственные способны разрушить его, потому что понимают его необязательность. Часто достаточно одного незаурядного человека, чтобы рухнуло все, и с каким грохотом рухнуло.

Защищаясь, общество убеждает гения, что его мысли, идеи, теории – глупость, бред, сумасшествие, что они бессмысленны, отвратительны, порочны, грязны, и он ради собственного же блага не должен посвящать в них никого, даже самых близких. Он должен помнить, что это его проклятье, его крест, позор, и молить Бога, чтобы все так и осталось тайной, ушло с ним в могилу. Доводы общества, несомненно, убедительны; большинство гениев и не пытаются бороться с цензурой: они быстро, даже с радостью смиряются и проживают хотя и не всегда счастливую, но вполне нормальную жизнь. У гения есть шанс осуществиться, только если общество в нем самом ущербно, если оно болеет и слабо, тогда он добывает его сначала в себе, а дальше, выйдя на свободу, сколько хватит сил, жизни, ненависти, крушит его и вовне.

Чем же и когда болеет общество в человеке? Иногда это легкие, быстро проходящие недомогания: сон, например, или галлюцинации, вызванные жаждой, голодом, жарой; но есть вещи более серьезные: истерика, транс, вызванный гипнозом или еще чем-нибудь, наркотические галлюцинации, иллюзии, особенно так называемая иллюзия уже виденного; аутизм, психическая синкинезия и многое другое.

Вера в справедливость, в оправданность привычного мира может быть разрушена какой-нибудь трагедией, происшедшей с нами, нашими близкими или просто на наших глазах: мы возвращаемся к этому и возвращаемся, утрата столь велика, что принять ее, смириться с происшедшим никто не в силах, мир, в котором подобное возможно, не может быть справедливым. Часто такие переживания – источник и начало душевных болезней, но, конечно, не только они.

Кто же те люди, которых мы помещаем в сумасшедшие дома? Что объединяет шизоидов, параноиков, эпилептиков, циклотимиков и прочих? Конечно, у них совершенно разные болезни, но есть и общее: люди, больные ими, отказались от наших норм, от наших законов, от всего нашего мироздания. Из тех же кирпичиков они выстроили все заново, и теперь ни один из прежних запретов не сдерживает их гений; „хорошо“ и „плохо“ у них другие, и в нашем мире они совершенно свободны. Вот, собственно говоря, главный вывод группы „Эвро“.

Исходя из него, к концу века для России были разработаны две программы, в соответствии с тогдашней модой они назывались „программа-минимум“ и „программа-максимум“. В сущности же, обе программы были просто разными этапами одной. Конечной целью общей программы было возвращение самим человеком, а не Богом, всего человеческого рода в рай и его соединение с Господом. Для чего предусматривалось воскрешение всех умерших, начиная с Адама, а также дарование каждому личного бессмертия, вечной молодости и полноты счастья.

В программу-минимум входила реализация дара, данного Господом России. Евреи из-за своей греховности потеряли благодать, и Россия стала новой Святой землей. Русский народ избран Богом, чтобы объединить вокруг себя все силы добра и света, какие есть на земле, и готовится к последней, решающей схватке с силами мрака и греха. Группа была настолько дальновидна, что уже тогда, то есть в девяностые годы прошлого века, уверенно утверждала, что силы мрака возглавит не владычица морей Англия и не набиравшая с каждым годом вес Германия, а провинциальные и далекие Соединенные Американские Штаты.

В „Эвро“ считали, что, чтобы выполнить возложенную на нее миссию, России предстоит увеличить число своих гениев в десятки, сотни, а то и во многие тысячи раз, то есть провести так называемую „генизацию“ страны. Путь для этого один: любыми средствами расшатывать общество, все его сферы (политика – разного рода социалистические партии; религия – сектанты и теософские общества; искусство – модерн, но, конечно, в первую очередь футуризм; нравственность – половые извращения, гомосексуализм: поддержка и одного, и второго, и третьего, резко ослабляя цензуру, должна была столь же резко увеличить

число гениев). Предполагалось, что итогом работы станет изменение характера и протекания душевных болезней: ранее незаразные или мало заразные, они теперь смогут выйти за пределы больного, начнется эпидемия, которую будет уже не остановить.

Эта эпидемия (позже ее станут именовать революцией), разрушив общество до основания, проведя его через невыносимые бедствия, горе, страдания, перемешав все, что в нем есть, так, что ни один, даже самый обычный человек не проживет свою жизнь, как рассчитывал, приведет к массовому выбросу гениев (прогноз „Эвро“ впоследствии оправдался – численность гениев в революцию действительно увеличилась во много раз, однако голод, холод, испанка, тиф, холера, смерти на фронтах Гражданской войны, массовые расстрелы и еще более массовое бегство гениев за границу, конечно, скорректировали цифры), что и позволит России стать во главе сил добра.

Программа-максимум – конечная битва мрака и света, греха и праведности; она будет долгой, стороны будут вести ее с невиданным ожесточением, чаша весов будет колебаться то в одну сторону, то в другую, словно Господь еще ничего не решил, а завершится она точно так, как описано в Откровении Иоанна Богослова, – Апокалипсисом. Катастрофа, которая постигнет человеческий род, будет столь страшна, что от прежней жизни не останется и обломков, не спасется никто и ничто.

Та прошлая жизнь была вместилищем греха – грех был в каждой ее поре, он пронизывал ее всю, всей ею владел, – теперь он гибнет вместе с ней. Гибнет и то, что люди считали добром, справедливостью, что они любили, во что верили, перед чем благоговели: на глазах матерей гибнут их дети, растерзанные дикими зверями, и дети видят, как те же звери терзают их матерей, а если кого-то, вняв мольбам, звери не тронули, его пожирает огонь – в общем, не остается ничего, гибнет даже вера в Бога.

Люди должны пройти через невыносимые страдания, иначе им не очиститься и не воскреснуть. Бедствия и горе должны свести их с ума, свести всех, до последнего человека, только тогда они наконец порвут с прошлой жизнью, откажутся от нее и их души освободятся. Мы будем так переполнены свободой, что как бы ни были малы способности любого из нас, он делается гением и как гений откроется Богу. Впервые человек увидит Его истинное величие и красоту, совершенство созданного Им мира и, увидев, вернется к Господу. Да, все должно было быть именно так, – сказал Ифраимов. Он помолчал, а потом неожиданно закончил: – Ну вот, Алеша, кажется, я удовлетворил ваше любопытство...»

Мы как раз стояли около двери в его палату, он полуобнял меня и тут же – я даже не успел с ним попрощаться – ушел к себе.

\* \* \*

Кроме одиннадцати человек из интерната в отделении лежало еще пятеро необычных больных: из них трое молодые мужики, по всей видимости, солдаты, и, кажется, с черепно-мозговыми травмами – во всяком случае, память была ими потеряна полностью. Они считались тяжелыми, и кто-то из медсестер круглосуточно дежурил в их палате. Кстати, солдаты были сущим благословением для отделения.

Дело в том, что хотя Господь лишил их разума и памяти, плоть солдат была сильна необыкновенно, и вот три сестры, которые посменно дежурили в нашем корпусе и самовластно ими правили (Кронфельд разрывался между двумя отделениями и заглядывал к нам нечасто), прознав это, поделили солдат между собой, так что у каждой оказался свой любовник. Впервые в жизни я видел сразу трех женщин, которых постоянно хорошо удовлетворяли, и должен сказать, что радость, им дарованную, они возвращали сторицей. Пары были неутомимы, казалось, что в добавление к собственной им отданы и остатки наших жизней. Дни напролет, почти без отдыха из солдатской палаты слышались крики, стоны, всхлипыва-

ния мучающегося в радости тела. Иногда сестры оставались с солдатами все втроем и, возбуждая себя происходившим по соседству, устраивали нечто вроде турнира – чей любовник окажется сильнее. В такие дни даже наши бедные старики от вождения едва не сходили с ума.

За своими избранниками сестры ухаживали с трогательной заботой – те не просто всегда лежали на свежем белье, но были умыты, побриты, аккуратно пострижены, часто даже надушены. Сестры, без сомнения, были в солдат влюблены, и этой любви мы обязаны тем, что, в отличие от нянечек, наши сестрички, закончив смену, никогда не спешили домой. Наоборот, им было здесь так хорошо, они были так тут счастливы, что искали любой предлог, чтобы задержаться. Они вообще любили отделение, любили и нас, больных, мы были свидетелями их радости, и они хотели, чтобы нам тоже было хорошо. В них была эта потребность, чтобы весь мир вокруг них радовался и ликовал, был таким же молодым, красивым, таким же полным страсти и любви, как они.

Они нечасто отрывались от своих любовников, но когда отрывались, были терпеливы, милы, любезны и всегда как бы светились. Для любого из нас было подарком перекинуться с ними несколькими словами, наверное, мы все тоже были в них влюблены, и, я думаю, они это понимали. Если с нянечками отношения были тяжелые, то сестричек мы звали между собой ангелами, голубками, и они действительно ими были: я не помню ни одного случая, чтобы они отказали кому-нибудь, если были в силах помочь. По каким-то соображениям они редко закрывали дверь в солдатскую палату, возможно, публичность добавляла пикантности их любовным схваткам, еще больше их возбуждала, или сестры были убеждены, что, отгороженные болезнью, мы все равно ничего не видим; пускай даже они просто не считали нас за людей, в сущности, все это неважно: для нас их любовь была последним кусочком настоящей живой жизни. И мы были благодарны, что они его не прятали.

Холл, где мы собирались, находился напротив солдатской палаты, и едва оттуда начинали слышаться пришептывания сестер: «мой миленький, сладкий мой, моя ласточка, ягодка, кровиночка моя, единственный мой»; и дальше: «еще, мой хороший, еще, еще, да, вот так, еще, еще, я хочу тебя, хочу, хочу», – как собрания наши сами собой прерывались. Конечно, мы не расталкивали друг друга локтями, чтобы поближе пролезть к дверям, но за ними была такая жизнь, какой ее создал Господь, мы же были стариками. Сил, которые у нас еще оставались, хватало лишь, чтобы рассуждать о жизни, а рядом с ними это было скучно и неинтересно. Даже после того, как они затихали, наши штудии возобновлялись далеко не сразу.

Кроме солдат в отделении лежала еще одна занятная пара. Он и она. По всем данным, тоже из первопоселенцев, во всяком случае они пользовались теми же правами и льготами. Пара была старше Морозова, Ифраимова, других интернатских лет на двадцать, и, как правило, держалась особняком. Это были очень странные люди. Иногда мне казалось, что они почти не отличаются от обычных местных пациентов, потом такое впечатление пропадало. Их напряженная, но часто не понятная мне деятельность – несмотря на возраст, они были самыми энергичными из всех, кто тут обитал, – явно имела смысл. Временами она все отделение спланивала, соединяла вокруг себя, то было нечто вроде спектакля, который они играли с редкой экспрессией, причем в нем каждый из нас получал свою роль, свое назначение – ни зрителей, ни статистов они не признавали. Большинство здешних обитателей были навсегда обращены внутрь себя и не замечали происходящее в миру, но пара, как хороший массовик-затейник, легко включала в свое действие и их, она вообще явно к старикам тянулась.

Театр возникал спонтанно, из ничего, вел его всегда один и тот же дуэт, участники которого смотрели, видели только друг друга. В этом смысле дуэт был замкнут, закрыт так же, как и прочие больные, но в действии было столько натиска, страсти, что оно без сопро-

тивления вовлекало в себя каждого, кто был рядом; все вокруг этой пары начинало жить и жило, пока дуэт сам собой не распался. Тогда отделение разом успокаивалось, приходило в норму. Не могу сказать, чтобы пара заинтересовала меня с первого дня, по большей части я проводил время в обществе тех интернатских воспитанников, о которых расспрашивал Кронфельда, но не заметить ее было трудно.

\* \* \*

Выше я уже говорил, как боялся, не мог ни на что решиться, когда возник разговор о госпитализации. Более того, если бы не давление матери и тетки, я бы, наверное, вообще не лег к Кронфельду. Но первые несколько дней в больнице прошли неплохо, я исполнился оптимизма, и, главное, во мне как-то сразу все уравнилось, я был спокоен и после большого перерыва впервые начал работать. К несчастью, светлый период продлился недолго.

Еще перед тем, как ехать в больницу, я дал себе слово возобновить «Синодик». Я решил, что при всех условиях буду трудиться каждый день, составил четкий план, о ком и в какой последовательности писать; теперь у меня все это пошло. Даже о тех, о ком я собирался рассказать кратко, только помянуть, потому что во мне от них мало что осталось, на бумаге я стал один за другим вспоминать новые и новые эпизоды, слова, жесты, выражения лица; работал легко, почти не останавливаясь, о каждом мог писать еще и еще, все они действительно как бы ожили и вернулись. Это были очень счастливые дни: я чувствовал в себе силу, чувствовал, что мне дан едва ли не дар воскрешения, а потом, на исходе второй недели, работа оборвалась.

В больнице я особенно много молился, мне было о чем просить Господа, было за что Его благодарить; я молился, как привык еще в детстве, дома: со слезами, со всякими ласковыми присказками, благо в палате никто не обращал на меня никакого внимания, а тут (дату я помню точно) на двенадцатый день моей больничной жизни я почувствовал, что меня никто, абсолютно никто не слышит. И как бы даже никого нет – все пусто, все ушло, умерло. Тогда во мне и начался страх. Была уже ночь, я так и лег, недомолившись, а утром, когда встал, работать уже не смог.

Дня через три после этой ночи я снова присутствовал на одном из интернатских семинаров. Точно, как была сформулирована тема, сказать не могу, потому что запоздал, но о чем шла речь, было вполне понятно. Собравшихся занимал вопрос об историчности известных лиц, в частности Сталина и Христа. О Сталине монотонно и бесцветно докладывал некий Сергей Прочич, назвавшийся учеником знаменитого исследователя русской сказки Владимира Яковлевича Густавса. То, что он говорил, было не его изысканиями, а изложением большой, начерно законченной работы самого Густавса. Несмотря на скучный голос, было видно, что Прочич восхищается учителем, гордится им. Он явно любил Густавса, был к нему привязан, но плохо умел это выразить. Все, что получалось у Прочича, – ненужная значительность, когда он повторял слова наставника.

Густавс начал собирать материалы о Сталине еще в двадцать третьем году и продолжал до дня своего ареста и гибели, то есть до тридцать восьмого года. Работа делалась фундаментально, одних выписок, по словам Прочича, было больше десяти томов. Формирование образа Сталина было рассмотрено Владимиром Яковлевичем во всех жанрах и видах искусств, от частушек до симфоний, и во всех регионах страны, включая Камчатку.

Разумеется, подробно перелагать здесь доклад Прочича я не буду, тем более что главный вывод исследования, основанный на анализе тысяч источников, нами был принят, во всяком случае, с ним никто из собравшихся не спорил. Его я и повторю. Густавс был убежден, что Сталин – фигура чисто мифическая. В этом духе Прочич нам его и цитировал:

«Никакого Сталина никогда в помине не было. Настоящий Сталин, Сталин, который ест и пьет, – такой же нонсенс, как живая птица Феникс», – и так далее.

Сталина Густавс считал величайшим достижением народного гения. «Я всегда говорил, – писал он, – что единственный истинный художник – народ. Кого поставить рядом со Сталиным? Мы любим его как творение своих рук. – И продолжал: – Сколько вдохновения, мудрости и любви понадобилось, чтобы его создать! Сотни тысяч, миллионы безымянных талантов творили его день за днем, год за годом, и он удался на славу. То было поистине всенародное дело!»

С этим тезисом Густавса мы, повторяю, согласились, тема была исчерпана, и тут Прочич неизвестно почему вдруг истошно, по-бабьи стал кричать: «Сталина не было! Нет! Нет! Не было! Никогда не было! Не было его, нет!» Он долго так кричал, потом голос его стал сбиваться, захлебываться, все превратилось в какое-то невнятное причитание, и только тогда его наконец удалось увести.

Я уже говорил, что собрания проходили в небольшом холле на втором этаже, где в обрамлении росших в кадках пальм стоял телевизор; в нашей больнице, в отличие от других, это было самое тихое место. Дело в том, что никто из здешних пациентов не понимал телевизионного изображения (кажется, что-то тут было связано с частотой строк или кадры менялись так быстро, что больные за ними не успевали). Единственное, что они могли смотреть, – мультфильмы. Мультфильмы им даже нравились, и врачи, считавшие, что, чем больше их нынешняя жизнь будет похожа на прежнюю, добольничную, тем лучше, железной рукой сгоняли их на передачу «Спокойной ночи», когда, как известно, показываются мультики. Пока они смотрели телевизор, мы не спеша гуляли по коридору, после отбоя же снова вернулись в холл и продолжили наши штудии. Сталина никто больше не поминал, с ним все было ясно, но некоей оппозицией тому, о чем говорилось дальше, он стал.

Разговор начался с обсуждения недавней сенсации – Туринской плащаницы, той самой, которой было обернуто тело Христа, когда Его клали в гробницу и на которой отпечатался и сохранился до наших дней Его облик. Ее находка убедила последних скептиков, что такой человек, или Богочеловек, действительно был, что две тысячи лет назад Он жил и ходил по земле Палестины, потом был распят и погребен, предан земле, то есть что все было точно, как описывается в Евангелиях. И, как сказано там же, на третий день могила Его оказалась пуста: Он вознесся и занял положенное Ему место одесную Бога Отца.

Как ни странно, меня не поразило, что накануне я Христа потерял; все высказывались спокойно, пожалуй, даже безразлично: подобный тон вообще был традицией этих встреч. Верует или веровал хоть кто-нибудь из интернатских, понять было невозможно. Говорили не только о Туринской плащанице, разбирались и другие свидетельства историчности Христа, в частности апокрифы. Какой-то незнакомый мне человек, все ласково звали его Матюша, – кажется, когда в прошлый раз говорили о Толстом, его не было или я просто не обратил на него внимания, – вспомнил одно позднее и сравнительно редкое свидетельство о Христе – так называемую «Повесть о повешенном». Читали ее из присутствующих лишь двое, и Матюшу наперебой стали просить, чтобы он хотя бы вкратце пересказал сюжет, вообще ввел в курс дела.

Начал он с того, что «Повесть о повешенном» – народный еврейский роман, написанный то ли в X, то ли в XI веке, во всяком случае, именно этим временем датируются самые ранние списки. Книга получилась почти карнавальная по своей жестокости и была некогда популярна, копий сохранилось много. Велика ли ее ценность как источника о Христе – сказать трудно, скорее всего, нет. Большинство считает ее просто антихристианским памфлетом, интерес которого ничтожен. Впрочем, есть богословы, думающие, что она основана на древних преданиях и тогда, следовательно, частью заслуживает доверия.

История Христа и христианства излагается в повести так: некий молодой и крайне самоуверенный человек, Иисус из Назарета, тайно проник в Святой Храм, где помещался Ковчег Завета, и вынес оттуда талисман; он зашил его себе в бедро, и львы, охранявшие Ковчег, ничего не учуяли. Талисман дал ему силу творить чудеса и побеждать в диспутах самых образованных раввинов. Все это привлекло к Иисусу сотни и сотни приверженцев, утверждавших, что тот – Мессия, Богочеловек, посланный на землю во искупление грехов человеческого рода. Зачатый непорочно от Святого Духа, Он, на котором нет даже первородного греха, рождением своим изменил мир: если раньше зло на земле множилось и множилось, люди все больше отдалялись от Бога, то теперь, посланный к ним своим Отцом, Он, как блудных детей, поведет их обратно.

Новая ересь распространялась как пожар, последователи Христа были едва ли не в каждом израильском селении, общины их стали возникать и за пределами Святой земли, и тогда Синедрион, почти не колеблясь, пошел на странный шаг. Он решил чуду противопоставить чудо. В сущности, то было капитуляцией веры, признанием, что она слабее чуда. Такой же талисман, какой похитил Иисус, был передан известному своим добронравием раввину, и скоро он и в чудесах, и в прениях о вере стал побеждать Христа. Почти неправдоподобно быстро ученики нового Мессии от него отшатнулись. Он был брошен едва ли не всеми, схвачен правоверными евреями и после многих унижений повешен. Поэтому книга и называется «Повесть о повешенном», а не о «распятом».

«Так вот, – продолжал Матюша, – Синедрион праздновал победу, но она была пиррова. Смерть Христа воскресила веру в него. И он сам тоже был воскрешен народной молвой. Не было дома, где хоть кто-нибудь не верил, что на третий день после погребения он восстал из гроба и был взят Господом на небо. Вновь воскресшая ересь стала страшной угрозой для той веры в Единого Бога, которую должен был хранить Синедрион, еще хуже было другое: в Христа сразу же уверовали тысячи тысяч иноземцев по всему греко-латинскому миру и число их росло и росло. Люди окропляли себя водой, принимая крещение, и начинали думать, что они евреи. Со страстью новообращенных они верили, что стали частью избранного народа Божьего.

Никакого учения еще не было, была только вера в смерть и воскресение Христа, Христа, взявшего на себя грехи мира, но никто из его последователей не сомневался, что сделался истинным иудеем. Раввины считали христианство чем-то вроде народной латыни: людям, недавно познавшим Единого Бога, трудно было соблюдать все законы и предписания, и они убедили себя, что в сравнении с верой это не важно. Такое течение было и раньше, но теперь, получив высшую санкцию, оно могло затопить тех, для кого веры без Закона не существовало. Разбухающую словно на дрожжах общину последователей Христа судьи считали варваром в вере и страшились, что она, как волна, захлестнет их. То есть судьи испугались не учения христиан, а их числа. Они испугались того, что христиане даже не подозревают, что у них другая, совсем другая вера, что они евреям чужие.

Евреи издревле жили среди куда более многочисленных, чем они, язычников, к такому строению мира народ успел привыкнуть и приспособиться; здесь все было ясно, все понятно: были евреи и были неевреи – гои, между ними не было ничего общего, в вопросах веры ни те, ни другие не искали ни компромиссов, ни согласий, и эта абсолютная отделенность устраивала всех. Христос изменил мир. Вдруг появилось множество людей, считающих себя евреями, но сами евреи оказались не готовы признать их братьями. Они чересчур долго жили в изоляции, она успела стать их отличием, их частью, и теперь выходить на открытое место им было страшно.

Евреи хотели возвратиться назад, они требовали от Синедриона, чтобы он увел их туда, где все было бы по-прежнему и они знали бы, как им жить. Это был голос целого народа, голос всех, кто не пошел за Христом, и Синедрион не мог его не услышать. Раввины долго не

понимали, что делать, выхода не видел никто, а христиан тем временем становилось больше и больше, казалось, что вот-вот народ, избранный Богом, растворится и исчезнет среди них. Опасность, угрожавшая евреям, была сильнее, чем даже в годы Вавилонского пленения, это равно сознавали и левиты, и люди земли, и тогда один из младших членов Синедриона, некто Анания, решился и предложил старейшинам следующее.

„Пускай, – сказал он, – два наших самых образованных раввина (имена он назвал, но пока мы их не знаем) уйдут к христианам и из того, что известно о Христе, создадут цельное учение, новую веру так, чтобы каждому еврею и каждому христианину было ясно, что они люди разной, совсем разной веры, что один другому они чужие. Тогда им не останется ничего иного, как разойтись, оставить друг друга в покое, и все станет на место“.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.